

В.М. Сидоров

Россия в зеркале Герберта Хаана

Национально-психологические алгоритмы русской нации и еще одиннадцати европейских народов по книге Герберта Хаана «О гении Европы» (Herbert Hahn. "Vom Genius Europas").

Содержание:

- [Глава 1. Клад Герберта Хаана](#)
- [Глава 2. Русское пространство не равно "Espace" и "Raum"](#)
- [Глава 3. Немного о географическом детерминизме](#)
- [Глава 4. Детерминизм лингвистический](#)
- [Глава 5. Экономическое бытие и народная психология](#)
- [Глава 6. Существует ли «национальная психология»?](#)
- [Глава 7. Способы бытия и способности сознания](#)
- [Глава 8. Мореплаватели и земледельцы](#)
- [Глава 9. Музы в России](#)
- [Глава 10. Между драконом и архангелом](#)

Владимир Сидоров

Россия в зеркале Герберта Хаана

Herbert Hahn

**Vom Genius
Europas**

Russland

**Серьезно о
русском духе,
психологии,
языке, культуре,
привычках и
особенностях
русских**

Книгу немецкого автора Герберта Хаана «О гении Европы» (Herbert Hahn. "Vom Genius Europas") можно считать как увлекательным литературно-художественным произведением, так и научным трудом. В ней автор не просто дает яркие национально-психологические зарисовки двенадцати европейских народов, но и делает это в тесной связи с глубинным анализом природно-климатических, языковых и других феноменов. Можно говорить о специфическом и системном «методе Герберта Хаана» при описании и анализе самобытных черт национального характера у итальянцев, испанцев, португальцев, французов, нидерландцев, англичан (американцев США), датчан, немцев и скандинавских народов. С особой обстоятельностью и немецкой скрупулезностью Герберт Хаан представил самобытные особенности русского народа, русского языка. И хотя автор нигде не стремился к дешевым сенсациям, но его системное изложение гарантирует для русских и русскоязычных читателей встречу с материалами сенсационными, то есть не осознанными.

Метод Герберта Хаана позволяет нащупать подспудные основы поведения нации и прогнозировать ее роль, ее действия в будущем. Подобно Фрейдю, вскрывшему подсознательные мотивы поведения отдельной личности, Герберт Хаан сумел выявить и представить глубинные алгоритмы поведения отдельных наций.

Настоящая авторская публикация переводчика написана и как самостоятельное произведение, и с целью привлечения внимания книге «О гении Европы». Предложения автора (переводчика) издателям, а также тем, кто желал бы познакомиться с отдельными главами произведения Герберта Хаана в целях

научных и педагогических, содержатся на моем персональном сайте: www.vsidorov.ru

[Глава 1. Клад Герберта Хаана.](#)

В книге Герберта Хаана, которую теперь будет возможность прочитать и на русском языке, речь идет о национальной психологии двенадцати европейских народов. Включая русских...

Написав эту фразу, я живо представил себе, как бы огорчила она самого автора – Герберта Хаана. И как он выразил бы к ней свое отношение. Например, словами из главы о Франции в своей книге: «может показаться, что ... нахлобучили дурацкий колпак».

И еще, может быть, добавил бы, что вот уж от русского он такого примитивизма никак не ожидал. Ведь мы, русские, по Хаану, не утратили живости восприятия, мы движемся в диапазоне «между драконом и *архангелом*» в отличие от всех других, которым приходится в своей духовности ограничиваться более узким диапазоном – всего лишь между «скотиной» и рядовым ангелом. И потому Герберту Хаану было бы особенно досадно, что именно русский переводчик «загремел скелетом абстракции» (опять же его выражение), лишив тем самым произведение живой плоти и крови и оставив от него только косточки.

Однако я не хотел «греметь скелетом абстракции» и не буду этого делать. Я всего лишь хочу показать одну сложность.

Попробуйте ответить сразу на один простой вопрос:

О чем пишется в «Войне и мире» Л.Н.Толстого?

Видно, что на такой вопрос *сразу* не ответишь. Есть, впрочем, один вариант. Но он для тех, кто не боится быть привлеченным к ответственности по обвинению в тавтологии. Быстрый, правильный и *содержательный* ответ может быть только таким:

«Война и мир» – это о войне и мире.

Это не просто тавтология. Это утверждение о глубокой содержательности того, что написано на обложке книги. И потому я не постесняюсь сказать:

Произведение Герберта Хаана «О гении Европы» - о гении Европы! То есть о «душах народов» или о «народных духах» (по Хаану это не совсем одно и то же), о языках и «гениях языков», о привычках, о мышлении и поведении, о культуре, об общности и самобытности итальянцев, испанцев, португальцев, французов, нидерландцев, англичан, шведов, датчан, норвежцев, финнов, русских, немцев. А еще о прошлом и о *будущем* этих народов, о «духе времени», о Европе в целом. О том удивительном факте, что русский язык просто соединил понятие иного человека и понятие друга и что у русских даже ненависть описывается так: «они ненавидят *друг(!)* – *друга(!!!)*». О том, что из этого следует. Об удивительном богатстве языка Шекспира и не менее удивительной обедненности английской речи. Кстати, можно смело утверждать, что Герберт Хаан представил нам еще и народ США, так как по языкам (английскому и испанскому) это стопроцентно европейский народ, да и по происхождению он все еще в значительной части европейский. Герберт Хаан в главе об Англии даже открывает нам многое из собственно американской культуры и истории, когда речь идет о «колонизациях говорящей и молчаливой» или, например, о «здравом смысле» Томаса Пейна.

Одно достоинство произведения Герберта Хаана имело большое значение для самих по себе подходов и технических решений при переводе его книги. Достоинство это состоит в дистанции. Дело в том, что психология («душа», «дух», «гений») народа и его языка относится к тем великим вещам, которые «вблизи не увидеть». И даже издавело трудно разглядеть, если взгляд привычен. Например, привычному взгляду трудно удивиться уникальности для Европы слов вроде «тихонечко» (уменьшительно-ласкательное значение в квадрате!) или «сердиться» (почему у русских в гневе участвует сердце?!). Или же задать себе вопрос, почему это русские живут на *свете*, ведь буквально это означает «жить на свечении». Ясно, что подобные вещи можно заметить и осмыслить, только будучи, так сказать, на языковой дистанции. И ощущение этой дистанции я как переводчик всячески старался сохранить для читателя. Прежде всего в главе о России.

Достоинству языковой, пространственной, временной дистанции сам Герберт Хаан как автор соответствовал в максимальной степени. Он жил в 1890 – 1970г.г.. Родился в Эстонии. Учился в Дерпте, Гейдельберге, Париже, Берлине, Грейфсвальде. С девятнадцати лет и на всю жизнь стал учеником Рудольфа Штейнера, известного в России прежде всего в качестве основателя так называемой «Вальдорфской» педагогики. В мире Рудольф Штейнер широко известен и как один из основоположников такого направления философской гуманистической мысли, как «антропософия». Именно по инициативе Рудольфа Штейнера Г.Хаан направил свою энергию на решение задачи «наведения мостов между народами при помощи духовного обоснования народной психологии». Знаток языков, быта, обычаев, привычек, психологии, «души» не только вышеупомянутых двенадцати, но большинства европейских народов. Автор множества произведений. Среди них «О серьезности игры» (1929г.), «Об истоках сил души» (1959г.), «Каким я видел и чувствовал Рудольфа Штейнера» (1961г.), «Дорога, которая меня вела» (1969г.), «Что должно быть в вальдорфской педагогике в ближайшие 50 лет?» (1969г.), «Жизнь с маленькими детьми» (посмертно в 1975г.).

Выполняя перевод, я стремился исполнять заветы моего автора, касающиеся перевода как такового. Оба они содержатся в его же книге в главе о Германии. Один – не довольствоваться «рабско-педантичным переводом». Другой – «для настоящего перевода требуется на какое-то время освободиться от самого себя, найти в своей душе место для другого «я»».

У меня не было личного знакомства с автором. А с произведением его я знаком со второй половины семидесятых годов. Тогда мне довелось дополнить уже имевшееся высшее образование учебой в одном закрытом учебном заведении в Минске. Один из преподавателей, писавших диссертацию о национальной психологии, выписал экземпляр книги на немецком языке и попросил меня прочитать ее и по возможности выписать цитаты, которые могли подойти для диссертации. Тогда я фактически перевел «О гении Европы» в первый раз. С того времени место для «я» Герберта Хаана было всегда забронировано в моей душе, так как система его взглядов не то что соответствовала моим, но была для меня понятна, полезна и необходима. Я не сомневался, что такое выдающееся произведение будет очень скоро переведено на русский язык и станет бестселлером, который затмит собой хотя и очень полезные и живые, но не системные описания национальных характеров вроде знаменитой «Ветки сакуры»

или произведений Геннадия Фиша о Скандинавии. Огромную пользу от произведения Герберта Хаана в случае его публикации в России (тогда в СССР) я усматривал в том, что мы научимся у него говорить именно о национальной психологии, национальной культуре, нашем национальном языке. Ведь до настоящего времени этого делать не умеет практически никто. Попробуйте самого искреннего русского патриота попросить хотя бы десять минут поговорить о русской самобытности. Через минуту разговор пойдет о ненавистниках и недоброжелателях России, о ближнем и дальнем зарубежье, об актуальных политических и экономических проблемах, о причинах недавних и давних социальных катаклизмов... А о том, что интуитивно и очень искренне является у патриота предметом обожания – о России, о русскости, о нас и о нем самом – слов найдется немного. А бывает еще и так, что слова-то находятся, но они скорее отпугивают или же наводят тоску, чем воодушевляют.

Давайте поучимся у Герберта Хаана. Его рассказы о строе русских согласных или о верхненемецком передвижении звуков, пусть и состоявшемся почти тысячу лет назад, интереснее любого детектива.

Не так давно история семидесятых годов у меня повторилась. Меня опять попросили «цитат» из Герберта Хаана. И тут до меня дошло, что этот великий автор до сих пор не переведен и почти не известен в России.

За прошедшие десятилетия этот материал не только не утратил «актуальности», но стал настоящим кладом. Одно его достоинство выросло еще больше – достоинство временной дистанции.

Бесценными сокровищами этого клада должен иметь возможность пользоваться и каждый русский, каждый россиянин. Перевод всей книги теперь задепонирован в Российском авторском обществе. А пока дело дойдет до издания всего произведения, можно предварительно познакомиться с ним и по данной публикации.

[Глава 2. Русское пространство не равно “Espace” и “Raum”](#)

У нас еще будет много поводов поразмышлять о теориях географического и лингвистического детерминизма, которые объясняют природно-климатическими и языковыми факторами особенности нации и даже «мышление, поведение и мировоззрение» отдельного человека («гипотеза Сепира-Уорфа»). Для начала просто посмотрим немецким взглядом на хорошо известное нам пространство, в котором мы живем.

«Не переживший этого не может составить себе правильное представление о русском пространстве. Это относится как к его протяженности, так и к его качеству, то есть к его внутреннему содержанию. Давайте же сядем на маленькой станции на один из поездов дальнего следования и поедem в восточном направлении, все дальше и дальше, и вскоре мы получим своеобразные впечатления.

Мы хорошо запомнили вид небольшой станции: типичный фасад с типовым распределением помещений и мест ожидания, стоящие или сидящие на земле небольшие группы пассажиров, явно вооруженных неистощимым терпением в ожидании какого-либо средства сообщения... Разговор всех этих стоящих и

жующих людей совсем не тот, что мы знаем по итальянским *пьяццам* и *галлериям*. В нем нет ничего внезапно пульсирующего, взрывного. Медленно тянется он, подходя лишь иногда у женщин к «престо» или «престиссимо». Если вслушаться, то, между прочим, в любом месте и в любой час наткнешься на хорошую шутку, на тонкое и трезвое наблюдение, на удивительно меткое суждение.

Такую картину мы увидели на станции и такой запечатали ее своими внимающими органами. Внимающими в самом прямом смысле слова, хотя внешне впечатления поначалу несколько окрашены в серое. И вот мы ехали все дальше и дальше на восток, час за часом, весь день и всю ночь. То там, то тут мы останавливались на более продолжительное время и немного освежались. Подступавшую душную тяжесть поездки мы вновь и вновь отгоняли «стаканчиком чаю» – ein Glass Tee. Но перед утром снова задремали на нашем просторном спальном месте. И вот мы потягиваемся, встаем и глядим в окно.

Невольно протираем глаза: опять все то же самое, знакомое – фасад станции с его типовым расположением помещений, ожидающие люди с серыми мешками, искусные круги разбросанной семячной шелухи, тот же задний план станции, та же местность вблизи и вдали. Все и вся здесь. Мы хватаемся за голову. Была ли вся поездка только сном, неожиданно сморившим нас? Может быть, мы на самом-то деле так и остались на той первой станции? И говор, звучащий вокруг, не изменился. Если в Германии или в Италии достаточно проехать пару часов, чтобы встретить другое наречие, то здесь речь людей осталась совершенно той же самой. Кажется даже, что она в своем приятном и в то же время настойчивом своеобразии так и течет далеко-далеко по земле. Нам вдруг становится ясно, что эта речь так и будет сопровождать нас день за днем, пока мы едем на восток. А что будет с этой станцией, с людьми, с их вещами и со всем вон тем и вот этим? Да, они, конечно, будут здесь же и завтра, и послезавтра. Мы удивляемся, покачиваем головой и вдруг чувствуем теплоту на сердце. Ведь по сути, думаем мы, это прекрасно, это должно нравиться. Как чудесно: едешь-едешь, а хорошие знакомые, может быть, даже друзья тебя и провожают, и встречают.

Когда поезд снова поехал, нами овладевают и другие необыкновенные мысли. Хотя, говорим мы себе, и ходят здесь поезда с удивительной точностью. Долгие годы пребывавшее в младенчестве и в детском возрасте, железнодорожное дело выросло до настоящей зрелости. Но что значат в этой стране минуты, что значит час или полдня? Для путешественника во всяком случае немного. Мы достаем часы и насколько снисходительно улыбаемся им. Они кажутся немного нервными в их непрерывном тиканье; не соответствуют больше ритму сердца. Нас охватило чувство безвременья, какое-то веселое и успокаивающее.»

«Через какое-то продолжительное время мы просыпаемся и удивляемся, потому что слышим разговор на противоположном спальном месте. Но ведь там может лежать только **один** человек, - думаем мы в изумлении, - как же там может быть разговор? Бросаем туда взгляд: действительно, там только один. Но так же очевидно, что он время от времени разговаривает. Это простой человек из деревни, положивший себе под голову серый мешок с неизвестным содержимым. Он тоже едет по долгим дорогам, кто знает, как далеко. Но пока он едет, его, кажется, берут сомнения, стоило ли вообще отправляться в такую дорогостоящую поездку. Он беспокойно крутит головой. Не все понятно из того, что он говорит. Но можно

разобрать что-то вроде: «Вот тебе и на, вот тебе и раз... За пять копеек не поедешь, милочек, залезай в карман поглубже.... Эх, эх, эх, - кой черт тебя погнал... А дома плакать будут. Да что поделаешь, что поделаешь? ... Нужно было, нужно...». Следует глубокий вздох, и тело находит новое положение. Последние слова звучат в нас. «Нужно было, нужно». Сколько русской судьбы, русской души в этом «нужно» или в родственном ему «надо»? И ничего такого особенного нет в том, чтобы среди этого народа найти человека, разговаривающего с самим собой. Здесь живут в обществе, думают преимущественно в ходе беседы. Вот беседа и продолжается, если думаешь в одиночку. Кроме того, собственную душу здесь воспринимают как маленького ребенка, которого всегда немного ласкают, но которому могут и пальцем погрозить. Однако в основном все это происходит спокойно, без лишних волнений.

«Бедный человек, - невольно думаем мы, - куда это он едет, и почему его «черт погнал»?» Хочется ему помочь, чувства к нему в этой обстановке самые братские. И не глядя заметно, как беспокойно он водит головой. Наверно, так же, как *ямщик*. Вот оно опять, бесконечное: «Качает буйной головой». И снова мы во сне.

Таким образом, мы могли ощутить кое-что от очарования русского пространства, будучи в поездке. Мы почувствуем его иначе, но столь же сильно, подойдя к краю необозримого поля с колышущимися зреющими колосьями. «Зерновой океан» - невольно думаем мы. В Норвегии близ шведской границы одно местечко называется “Kornsjo” – «зерновое море». Но только здесь, в России, такое название становится оправданным. Мы не в меньшей степени ощутим окрыленность и удаленность пространства при виде золотых подсолнухов, стоящих до горизонта под голубыми небесными парусами. И мы думаем, что люди прошедших времен испытывали то же самое, когда от одного из уединенных монастырей поднимались звуки колокола и расходились далеко по земле, или же когда за этими звуками следовало глубокое, как пропасть, и теплое, как земля, пение монахов. И *молитва* тоже не оставалась на месте, а плыла за горизонт, притягиваемая вечной далью.

Нет, русское пространство не сравнимо с другим ни по своему «что?», ни по своему «как?». Русским словом “*prosstransstvo*” передается не то же самое, что есть в немецком “*Raum*” или во французском “*espace*”. Наши употребляемые европейские обозначения пространства подразумевают пространство в трех измерениях. Русское пространство имеет, если можно так выразиться, N измерений. *Пространство* лишь немного передается тем, что с поверхностной этимологической точки зрения означает «простирающееся». При более тонком восприятии оно значит «излучающее в бесконечность», «светящееся, как звезды». То, что в польском слове “*przestrzen*” есть в зародышевом состоянии, разворачивается в полную силу в слове «*пространство*». И если пощупать краешек русской народной души, то почувствуешь, что она не может свободно дышать ни в каком другом пространстве, кроме этого.

Этим своим качеством пространство изначально перекрывало что-то из теневых сторон географии, о которых мы упоминали во вступлении. Оно должно было уже давно само найти резонанс в душе русского человека. И эхо, идущее от человека, выражается в двух мотивах: в *широкой натуре* и в *душе нараспашку*. Широкая натура означает «большая», «великодушная» натура. Там, где есть возможность следовать своим склонностям, русский не любит заниматься мелочами и быть

мелочным. Он не считает пфеннингами, центами или эре (скандинавская монета – В.С.) - ни в физическом, ни в моральном смысле. Он планирует большое, фундаментальное, а простая идиллия представляется ему слишком бюргерской. Если речь идет о переменах, то он не торгуется из-за пядей, а внезапно поворачивает на 180 градусов. В душе нараспашку, в «расстегнутой душе» проявляется стремление выразиться непосредственно и прямо, а также без обиняков и лишних условностей, как это делают там, где «пиджаки застегнуты на все пуговицы». Бывает, что и с соответствующим пренебрежением.

Бесконечному *пространству*, которое мы не совсем логично и точно называем словом «Raum», соответствуют и некоторые другие черты русской души и русской жизни. И прежде всего пара, стоящая друг с другом, подобно мажору и минору: *удаль* и *тоска*. О них уже шла речь в португальском разделе нашей работы, а слово «удалой» в несколько иной форме мы встретили в «*тройка удалая*». Конечно, языковеды правы, когда соотносят слово *удалой* по его происхождению с *удачей* – «удаваться», «иметь успех». Но в нем явно кроется и что-то другое, если свойство «удалой» даже в песенной поэзии о Кавказе относится к воинам, вождям и кому-то там еще. Конечно, это не имеет ничего общего с обыкновенной успешностью. Давно уже найденный перевод «смелый», «отважный» ближе подходит к душевному содержанию слова. Но тоже не совсем. Потому что в нем есть что-то от того, чтобы выйти на подвиги, требующие на что-то отважиться и что-то и когда-то сделать в неизвестной дали. Во всяком случае, по ту сторону горизонта, - там, где русская душа только и чувствует себя дома. Вспоминается о рыцарском настроении «*avonture*». Но в *удали* совсем нет рыцарски-сословного, рыцарски-условного элемента. Она намного более общечеловеческая и указывает на слепую волю проникновения в *пространство* – активный, бодрый ответ на его бесконечность.

В *тоске* – слове, представленном во всех славянских языках, - с точки зрения обыкновенной можно обнаружить «печаль», «горе». Но в полном объеме *тоска* проявляется, будучи противопоставлена бесконечному русскому пространству. Это пассивный или, как сказано, минорный рефлекс на *пространство*, это печаль, перенесенная в многомерную неопределенность, в большое, человеческое. Об этих больших, надличностных аспектах нам часто придется размышлять, если мы хотим глубже понять русский дух. *Тоска* проявляется не столько в отдельной песне, не столько в отдельном стихотворении, сколько во всем укладе русской народной поэзии, русской народной песни. Мы обнаруживаем ее в качестве существенного элемента и в народной музыке. Как бы вбирая в себя широту пространства, она соединяется с тем загадочным русским свойством, которое мы назовем в дальнейшем «безграничной способностью к страданию.»

«Много еще нитей ведут от особенностей русского пространства к характерным явлениям русской жизни. Для европейцев особенно важен тот факт, что это пространство непосредственно одарило весь мир. Кажется, оно гениально соответствует новой проективной или синтетической геометрии, которая выходит за рамки эвклидовых представлений. Не случайно важнейшие разделы такой геометрии разработаны русскими, либо сформулированы в России. Так, например, случилось, когда французский математик Понселе долго прожил в России. Ведь в *пространстве* есть что-то вдохновляющее в космическом смысле.

Но давайте в простирающемся воздушном ландшафте обратим больше внимания на саму по себе землю. Как это может быть, спрашиваем мы, что люди, узнавшие Россию, испытывают вдали особого рода тоску по этой земле? Поначалу кажется, что есть земли, гораздо более заслуживающие взгляда. Не только потому, что, как мы заметили, местность повторяет одни и те же мотивы на дальних и сверхдальних дорогах. И в том, что касается цветовых ощущений, на первый взгляд ничего ослепительного. Правда, *цветок* представляется, как и в других славянских языках, носителем *цвета*. Но то, что заметно из красок на цветах, не слишком подчеркнуто, скорее кажется приглушенным. Это всегда так в средних русских областях, на крайнем севере и далеко на юге качество иное. Но чем ближе срастаешься с русским ландшафтом, тем лучше заметен другой феномен: беглый, едва заметный свет даже над самыми темными и бесцветными участками земли. В результате темное получает теплый оттенок. А там, где свет падает на что-то красочное, он, кажется, не сильно прилипает к предметам. Он немного отрывается от них и получает легкий оттенок, который можно назвать «световым эхом». Вся страна заполнена своеобразным сиянием и окружена светом. Только не следует представлять себе это сияние слишком уж предметным.

Речь идет о тонких и тончайших нюансах, о часто упоминавшемся нами творческом «едва-едва» или, как сказал бы русский, «чуть-чуть». И, предвзято разговаривая о языке, в этом слове «чуть» заключена «очевидная тайна». Чу! – так в русском языке говорят, призывая послушать. Но подразумевается не только призыв к слуху, а к тонкому, ощупывающему восприятию, в котором сливаются самые различные ощущения. И мы впервые можем высказать здесь абсурдно звучащую фразу: Россию и русского человека следует *научиться видеть ушами*. Как ни абсурдно это звучит, но речь идет о чем-то весьма конкретном.

Очевидно, в прежние времена отраженный землей свет воспринимался русским человеком совершенно предметно. Вместе с другими братскими славянскими народами он жил с ним, как с одной из земных стихий, даже с той самой земной стихией. Но если, к примеру, в польском языке слова, означающие землю, планету, и свет, свечение, слегка дифференцировались между «swiatlo» и «swiat», то в русском и свечение, и планета соединились в едином слове *свет*. Мы еще поговорим о том, что для «планеты» в русском есть еще одно слово. Здесь же нас интересует данное своеобразное созвучие. Оно проявляется совершенно очевидно, если русский хочет сказать, что что-то происходит на планете. Тогда он использует выражение *на свете*, что буквально означает «на планете», а также «на свечении». Таким образом, предложение “ich lebe in der Welt” он передал бы словами «*живу на свете*» – «я живу на планете – свечении». Перед нами здесь вновь один из феноменов, заставляющих удивиться и вспомнить о том, какими же конкретными были указания исследователя душ Рудольфа Штейнера. По определенному поводу он говорил, что духовность разных народов крепко связана с той или иной из земных стихий: итальянская с воздухом, французская с водой, английская с землей, немецкая с теплом. О русской духовности он говорил: она внутренне связана с отраженным от земли светом.... Наверное, стоит заметить на полях, что в русском языке изначальные словесные образы исчезли так же, как и в других европейских языках. Если русский подразумевает планету и говорит «*на свете*», то он совершенно не думает больше о том, что *свет* означает еще и свечение. Языковой

прагматизм, о котором подробнее шла речь в главе об Англии, никак не ограничен этой страной. Мы повсеместно живем среди языковых чудес и бродим вокруг гениальных проявлений языка, даже нисколько этого более не осознавая.»

Герберт Хаан рассказывает далее о том, как внезапно на русском пространстве проступает за одну ночь весной зеленая трава:

«Это не мещанская зелень с аптечного склада, какую мы обычно видели повсеместно. Это ликующая зелень с почти бунтарской силой молодости. Поначалу ей не нужны никакие цветы, и то, что мы так сухо называем «травой», становится неслыханным событием.

Об этой траве автор вспомнил на горе Табор в Палестине. И там же вспомнились простые, но захватывающие и сильные слова, которые неисчислимое количество раз напевались русскими: «Там у речки, у моста зеленеет уж трава». Видимо, это негромко интонируется одним голосом в так называемом *запеве*. Это голос первого, кто заметил, почувствовал и теперь утверждает, что трава, наконец-то, проступила и растет. Но есть в манере запева и что-то от *чу!* – « послушайте!». И тогда подхватывает хор, и тут-то и сотворяется весеннее чудо. Душа народа вспоминает о прошедшем оцепенении, о бесконечных холодных зимних днях без травы, без зелени, радость ликующих певцов становится почти неистовой, слова повторяются все быстрее, все стремительнее: «Зеленеет – уж трава! – Зеленеет – уж трава!» В голосах что-то от стремительности и темпа русского народного танца. «Зеленая трава» не та, что в нежном меланхолическом стихотворении у немца Юстинуса Кернера, озвученном Робертом Шуманом. Она вызывает что-то уносящее с собой, дионическое. И мы прикасаемся к грани иррационального в этом таинственном русском мире. Ведь многие здравомыслящие наблюдатели могли бы сказать: что такого в зеленой траве, чтобы люди так восторгались и сходили с ума!

Но душа русского народа знает лучше. Она чувствует, что зелень травы на самом-то деле является эхом на силу небесного света. Нога, которой позволено ступать по этой траве где угодно, глаза, без помех отдыхающие на широком просторе, - все это без слов, стихийно вобрало в себя древнее выражение «*на свете*» – «на свечении».»

[Глава 3. Немного о географическом детерминизме](#)

Обширные цитаты в предыдущей главе приводились еще и с целью знакомства со стилем Герберта Хаана, с его манерой изложения. Хотя из них можно уже увидеть кое-что и из специфики и даже новизны его метода.

Если сказанное о русском пространстве отнести к описанию географических факторов, то мы видим, что разговор об особенностях «народной души» начинается у Хаана с географии, с ландшафта, с природно-климатических моментов. Попытки увязать географию, ландшафт, типичные пейзажи страны и психологические особенности проживающих в ней народов не новы. Вспомним, например, как Виктор Гюго в «Девяносто третьем годе» объяснял восстание в Вандее во время Французской революции лесистым характером Вандеи, повлиявшим на психологические особенности ее жителей и через них – на политическую позицию в переломный момент французской истории. В целом

можно сказать, что влияние на психику «местности», «климата», ландшафта общепризнано. Вот только степень этого влияния, его механизмы и направленность остаются и поныне столь же загадочными, как и во времена Гюго. Например, давно замечено, что в характере народов южных больше страсти, больше темперамента, больше проявлений чувств. Однако вот вам феномен, подмеченный Гербертом Хааном:

«У знатока романского тут же появляется вопрос. Он видит, что в отношении смеха французский и итальянский народы странным образом противоположны. Француз намного сдержаннее итальянца в проявлениях души; эта легкая сдержанность прямо-таки создает одну из необходимых оболочек, которые окружают и «дают простор» языку и всему стилю жизни. Но вот для француза, более сдержанного во всех отношениях, характерен смех, а для итальянца путеводной звездой в душевной жизни является «соррисо» – улыбка. А все же улыбка, как на то указывает умлаут в соответствующем немецком слове “Lacheln”, - это не полностью раскрывшийся, не совсем воплотившийся смех. Шведское слово “smale”, означающее, собственно, «маленький смех», наглядно показывает это с другой стороны. Почему представителям «громкого» народа характерна улыбка, а народа «тихого» смех? Возможно, это один из таких вопросов, на которые нельзя отвечать словами «потому что» или «так как». *Разум человеческий все же не гостил в той кузнице, в которой боги ковали языки. Но стоит все же поглядеть на странные и кажущиеся противоречивыми феномены, существующие во всем мире, это располагает к латентным познаниям.»*

Последние фразы выделены автором этой публикации. Разум человеческий до сих пор не приглашен и на ту божественную кузницу, в которой куются, например, различные метеорологические явления. Ведь в принципе даже современная метеорология недалеко ушла от тех толстовских мужиков, которые все объясняли фразами «ветер нагнал тучи» и ветер же «разогнал тучи». Однако системность наблюдений и возможность видеть их с большой, даже космической, дистанции позволяют современной метеорологии заблаговременно предсказывать достаточно многое, оставаясь даже на той позиции, что ветер «нагоняет» и он же «разгоняет».

То есть до проникновения человеческого разума на ту самую «божественную кузницу» ему ничего не остается, как охватывающее системное наблюдение с должной дистанции. Это уже дает «латентные знания». Вот о чем, собственно, и говорит нам Герберт Хаан. И уже сама по себе осознанность такого подхода является серьезной и весьма позитивной чертой его метода. И поскольку черта эта проявляется не только при описании географических факторов, но в еще большей степени и при представлении моментов лингвистических, исторических и прочих, то представляется важным еще раз пояснить, о чем идет речь.

Например, уже известно, что в Вандее произошло восстание против Французской революции. Ясно, что восставшими двигали какие-то настроения, какие-то осознанные или неосознанные психологические установки, заставившие их выступить с оружием в руках против воли столицы и против большинства французских провинций. Почему это произошло? Смотрим на географические особенности Вандеи и обращаем внимание, что в ней по сравнению с другими провинциями было особенно много лесов. И далее поступаем как Виктор Гюго:

объясняем историческое событие замеченной нами географической особенностью. А для связки и для убедительности говорим, что лесам, мол, свойственно загораживать, сужать кругозор и снижать восприимчивость к новым историческим веяниям.

Но ведь в тот же самый период в скандинавской стране, еще более лесистой, к власти приходит один из ярых сторонников французской революции. Хорошо известно, что на теле этого властителя, ставшего королем, до самой смерти красовалась татуировка «Смерть королям!». И этот факт тоже налицо. Почему бы при попытках его объяснения не построить такую схему: лесу свойственно создавать у человека настроение мечтательное, лес развивает фантазию, а тем самым раздвигает перед человеком горизонты и обостряет его восприимчивость к новым историческим веяниям. Вот почему...

«Ветер нагнал тучи». – «Ветер разогнал тучи». Ясно, что дискуссия не имеет смысла, пока ее участники не откажутся от односторонней «упертости» и не поглядят повнимательнее «на странные и кажущиеся противоречивыми феномены, существующие во всем мире», ведь именно это «располагает к латентным познаниям».

Какая-то связь между количеством и качеством лесов в данной местности и психологическими особенностями соответствующих народов нами предполагается, даже просто ощущается. И если мы, не торопясь с поспешными выводами, посмотрим на таковую связь на большом количестве примеров, будем постоянно иметь ее в виду, будем системно обращать на нее внимание и потом посмотрим на полученные нами наблюдения с достаточно большой дистанции, то уже получим познания. Мы буквально окажемся на грани открытий, если, например, благодаря Герберту Хаану понаблюдаем за итальянскими пиниями и кипарисами, погуляем с ним осенью по французской роще, побываем ранним утром в немецком лесу с его загадочными тенями, остановимся в Скандинавии перед сказочной березой – этой девичьей Венерой, заблудимся в лесах, в которых наука нашла «Калевалу» – последний из живых эпосов гомеровского масштаба... И вот на фоне всего этого перед нами... не лес. Ведь леса не характерны для Англии. Или можно сказать иначе: для Англии характерно отсутствие лесов.

««Что такое дерево, я узнал только в Англии»,- сказал нам однажды хороший знакомый, объездивший много стран и внимательно изучавший природу и искусство. И каждый, поближе познакомившийся с английским ландшафтом, охотно это подтвердит.

Мы знаем деревья в лесах, в парках и аллеях, мы научились восторгаться и любить ели, сосны, дубы, липы, клены и рябины, и не в последнюю очередь березы, эти сказочные дитя среди всех деревьев. Мы с удовольствием вспоминаем об участии в создании итальянского пейзажа кипарисов и ив, пальм и пиний. Но есть такие предметы и существа, с которыми мы по сути-то и не знакомы, пока они появляются во множестве. К ним относятся, без сомнения, человек и, видимо, дерево: предмет или тоже существо? В одиночестве они открываются нам по-настоящему.

Вспомним еще о сказанном нам Рембрандтом, когда он, став одиноким, поставил перед нашей внимающей душой три одиноких дерева. Группы из трех-пяти одиноко

стоящих деревьев можно, пожалуй, встретить повсюду на английском ландшафте, простирающемся *hilly and wavy* – «холмисто и волнисто». Но еще более характерно дерево, стоящее совсем в одиночку, будь то дуб или кто-то другой из стойких борцов с непогодой. Гете однажды сказал волнующие слова о том, что быть человеком – значит быть борцом. Похожее можно сказать и об английском дереве. На местности, которая едва ли где удалена от моря больше, чем на сто пятьдесят километров, деревья зимой и летом подвержены быстрым и порывистым играм ветра и дождевых облаков и нередким ураганам. Но они сопротивляются от корня до макушки. И как бы подчеркивая нерушимую связь с землей, они пускают листву и ветви настолько близко к земле, насколько это возможно их породе. Многие стоят, будто в панцире с головы до ног.

И если посреди наивсветлейшего итальянского пейзажа кипарис говорит нам свое «*temento mori*», то в колыхании английского пейзажа одинокое дерево говорит: я борюсь, и я прочно стою на земле». И мы видим, как цепко оно корнями обнимает землю, как еще более стойким оно стало от затвердевших рубцов на стволе, как сучья его кроны образовали удобную крышу – надежное убежище для птиц. Да. Это дерево само есть существо, для которого писан «Акт габеас корпус».

Рудольф Штейнер однажды дал англичанину чрезвычайно содержательную характеристику, сказав, что англичанин поступает вследствие не столь уж напряженных раздумий, так как у него с самого начала есть в распоряжении все, что можно было бы назвать результатами мыслительной культуры полуденного мира. Используя эти результаты как ступень, стоя *на* этой ступени, он принимает решения, непосредственно переходящие в действие.

Но что можно назвать результатами мыслительной культуры? Если давать элементарную характеристику, как здесь это, видимо, и предложено, то это внутренняя уверенность, сильная опора в себе самом и способность быстро и ясно ориентироваться в любой возникающей ситуации, в пространстве и во времени. Человек с такими качествами, где бы он ни был, движется легко и свободно. Он нетороплив и не медлителен. Он попадает в цель небрежным с виду движением; сдержанный и даже скупой в словах, он действует по правилам, которые хотя и применяются сейчас, но выработаны столетиями. Если итальянец окружен живым потоком речи своего народа где бы он ни был – на улице или в парке, в поезде или на корабле – то молчаливый сам по себе англичанин кажется неофициальным представителем нации. Будучи и на самой чужой территории, он производит впечатление человека, стоящего на захваченной и завоеванной почве своей островной истории. Как отдельно стоящее дерево на его родине противопоставляет себя всем силам природы, так и англичанин, сильный и в одиночку, противостоит случайностям, капризам и невзгодам своего окружения. Справится ли он с ними, – это и у него зависит от индивидуальных человеческих возможностей, но как представитель своего народа он в любом случае воспринимает их спокойнее многих других.

Англичане кажутся неприятно удивленными, может быть, даже прямо-таки задетыми чересчур большим количеством указателей, надписей, всевозможных запрещающих и предостерегающих табличек. И в современном дорожном движении со всей его мчащейся динамикой они не желают быть цивилизованно предпочитаемыми или опекаемыми; они хотят оставаться покорителями троп.

Еще несколько лет тому назад при поездке по железной дороге можно было встретиться со следующим. После *букинга* заходишь в вагон, состоящий из удивительно большого числа отделений. Но напрасно искать на вагоне привычные по континенту указатели маршрута или направления, что-то вроде «из Парижа через Бар-де-Люк – Ненси – Страсбург – Карлсруе – Штуттгарт – Ульм – Аугсбург в Мюнхен». Ничего такого нет ни на вагоне, ни внутри него. Хорошо еще, что нумерация отдельных вагонов и купе понятна. И вот огромная змея поезда приходит в движение. Мчишься в пространство подчас два-три часа без остановок. Наконец, большая станция. Но какая? На стенах большого темного вокзала сияют огромные плакаты, нахваливающие нам пиво, лимонад, сигареты, пирожные и хлеб «здоровье» всех сортов, но таблички с названием станции нет нигде. Название станции и не объявляется. Люди без какой-либо толкотни вышли и зашли, и поезд уже мчится дальше. Но, спрашивает себя иностранец, где же это мы были? Вторая, третья станция – картина та же, ситуация такая же. Нет, на третьей станции все-таки небольшое отличие. Если хорошенько высунуться, то на одной скамейке все же можно прочитать маленькие невзрачные буквы названия: Ноттингем.

Что здесь происходит? Что определяет этот порядок, который по континентальным понятиям порядком вряд ли является? О чем, собственно, думали люди, широко заложившие этот вид транспорта и великолепно с ним справляющиеся?

Ответы, видимо, следуют из ранее сказанного. В Англии безусловно рассчитывают на чувство ориентации у самого пассажира, вообще на то, что человек едет по свету не во сне, а с бодрствующими, открытыми органами чувств. Конкретно по отношению к железной дороге это значило бы следующее: считается, что каждый изучил расписание, знает последовательность станций, временные и пространственные отрезки между ними; считается, что тебе известна скорость поезда и потому ты можешь увидеть по часам, где находишься, даже в тумане и в дождливые дни, когда окна непроницаемы. Без долгих раздумий предполагается, что такие же ценные качества и дарования есть и у иностранца. И поскольку опять же само собой разумеется, что он тоже говорит по-английски, то дается и еще одна гарантия: он может в любой момент сориентироваться, просто задав маленький вопрос.

Однако сколько народной психологии в том, как народы ориентируются! Когда автор впервые делал свои описываемые здесь наблюдения, ему как педанту вспомнился небольшой эпизод, происшедший много лет тому назад в старой России. Это было ранним зимним утром в тогдашнем Санкт-Петербурге. Окна в вагонах медленно двигавшейся *конки* - конного трамвая - были покрыты толстым слоем льда. Время от времени среди плотно сидевших пассажиров происходило странное движение: они словно по какому-то неслышному приказу наклонялись и осеяли себя крестным знаменем на греческий манер. Движение почти всегда делалось всеми сразу, после чего пассажиры возвращались в прежнее положение, большинство задремывали, некоторые читали потрепанные книги, видимо, библиотечные. Через некоторое время автор, удивлявшийся втихомолку, нашел случай спросить у кондуктора – разумеется, подобающим шепотом. Кондуктор довольно улыбнулся и сказал: «Ну. Просто люди по времени знают, когда мы

проезжаем церковь или часовню с чудотворными образами, вот они и крестятся, даже если ничего не видно».

Да, столь просты некоторые вещи, если родился среди определенного народа в определенное время и с молоком матери впитал те или иные взгляды.»

В процессе переводческой работы над произведением «О гении Европы» мне посчастливилось завязать переписку и получить ценнейшие консультации от некоторых русских, проживающих в мало знакомых мне странах – Голландии, Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. В ходе переписки я получил от очаровательной Лены из Голландии вопрос: как бы я объяснил отсутствие у голландцев сказок на фоне обилия у них же песенок для детей и т.д.? Поверхностный ответ был рядом. Из того, что Герберт Хаан рассказал о Голландии, я знал, что в конце девятнадцатого века в этой стране активно действовало целое направление педагогики, которое считало сказки делом вредным для воспитания и всячески стремилось выкорчевать их из жизни. Однако знакомство с Хааном дает не только подобные сведения, но и вырабатывает привычку рассматривать вопрос с нужной дистанции. Ни одна педагогическая школа и даже политическая власть не может искоренить сказки, анекдоты, песни, если народ желает их сочинять, рассказывать, петь. Скорее само по себе появление в стране подобных «педагогических школ» является следствием определенных настроений и психологических установок в гуще народа. И я высказал предположение, что подобное странное для нас «антисказочное трезвомыслие» у голландцев все же как-то связано с тем, что в этой небольшой стране по сути нет и не было лесов. А то, что лес и сказка просто неотделимы – это прямо-таки доказано Гербертом Хааном на основе анализа обширного европейского фольклора.

Мы так подробно остановились именно на лесах и деревьях с легкой руки Виктора Гюго. Мы могли бы вместо этого природно-географического фактора поговорить о среднегодовой температуре, об изотермах, о степени «южности» или «северности», о близости к морям или удаленности от них, о реках.... И какой бы фактор мы ни взяли, каждый из них не приведет нас в «божественную кузницу», но очень многое расскажет и откроет при условии соблюдения нами системности и дистанции.

Однако есть еще и один конкретный фактор, на который в данном аспекте мало кто обращал внимания. Для многих может даже показаться странным услышать о нем как о свойстве географическом или климатическом. Специфической особенностью метода Герберта Хаана является то, что он этот фактор постоянно и системно учитывает. Фактор этот – свет, освещенность, особенности его восприятия в той или иной местности человеческим глазом.

Посмотрим для примера на свет как часть *ландшафта (!)*, как он описывается не только в России.

«Умение воспринимать ландшафт в целом вообще относится к достижениям нового сознания. Как маленькие дети интересуются в ландшафте только деталями, будучи не в состоянии охватить его величие в целом, так же воспринимали его и люди прежних времен, жившие под любым небом. Одним из первых, давших действительно подходящее описание итальянского ландшафта, был Гете. Его письма об «Итальянской поездке» содержат описания, непревзойденные и поныне в их конкретности, красочности и духовной проникновенности. И все же гетевские

описания не смогли воспрепятствовать тому, что вместо истинной картины итальянского пейзажа стали появляться картины, искаженные романтическими грезами. Этим романтическим псевдоитальянским картинкам в свое время положил конец историк культуры из Прибалтики Виктор Ген. Его небольшая работа «Об облике итальянского ландшафта», ныне, к сожалению, почти забытая, относится к лучшему из того, что когда-либо писалось об Италии.

Виктор Ген очень убедительно показывает, что приезжающему с севера нужно еще обрести специальный орган чувств, чтобы вообще суметь увидеть Италию. Ведь приезжают из областей, где сумерки, сны и отзвучавшие мифы еще оведают пейзажи и делают их контуры расплывчатыми, где в таинственном шепоте живой лесной природы еще верится в сказки, где небольшая церковная башня, мельница, отдельный дом зримо несут на себе отпечаток одухотворенной созидающей руки человека, и где они предстают пред одухотворенным зрячим человеческим глазом.

А что вместо этого он находит по ту сторону Альп?

Вместо живого и лишь слегка контурированного ландшафта такие образования, которые по мере движения на юг принимают все более законченный и в то же время суховатый вид. Ничего таинственного не окружает эти формы, они покоятся в удовлетворяющем их настоящем. И если взгляд охотно задерживается на тех кипарисовых рощах, на палаточных городках из пиний и на маслиновых садах, о которых шла речь, то все же напрасно искать взглядом лес в смысле леса средней Европы, не говоря уже о Европе северной. А если не посчастливится приехать солнечным днем, то отдельные хижины и дома или придвинутые к стенам скал либо стоящие на вершинах городки покажутся непривлекательными и голыми с их блекло-голубыми или грязно-коричневыми красками, не говоря уже о впечатлении, будто они заброшены и предоставлены разрухе. Да и откуда чужестранцу знать, что итальянец даже свои дома считает созданием солнца и потому воздерживается прилагать руку к тому, что раз и навсегда поручено теплу и солнечному свету.

Мы передали здесь в свободном изложении кое-что из основных мыслей Гена. Констатируем прежде всего, что Виктор Ген подчеркивает пластическую оформленность итальянского ландшафта, монументальность его частей, четкость контуров и полное отсутствие романтического в основных мотивах. Между прочим, говоря о четкости контуров, можно легко поддаться недоразумению. Кто-то может возразить: разве горы в Швейцарии или в Богемии, крутые скалы у Атлантического океана или в проливе Каттегат не имеют столь же четких контуров? Конечно, имеют. Но восприятие контуров на местности определяется не только предметно данными формами земли или растительностью. Оно зависит от воздуха и света, обыгрывающих эти формы, а в более тонком смысле даже от того, что исходит от земли в виде тепла или какого-то неуловимого элемента. Эти «летучие» факторы могут при внешнем сходстве структурных элементов физического свойства быть совершенно разными в разных странах.

И здесь мы вправе вновь обратиться к Виктору Гену. Его заслуга в том, что он показал, что Италия вместе с еще некоторыми средиземноморскими странами погружена в мир совершенно особого света. Это слегка пластичный и в то же время художественный свет, мягко выделяющий даже отдельный пенёк дерева или валяющиеся без присмотра булыжники, делающий их интересными и без обиняков превращающий их в эстетически ценные объекты. Такой свет простирается от

греческих островов через всю северную и среднюю часть Средиземного моря до Пиренейского полуострова и еще тонким язычком протягивается от Прованса до Парижа. Если мы воспримем этот нежный свет как реальность, то он раскроет нам многие тайны ландшафтов южной Европы.

Важно почувствовать, как сильно он отличается от еще более южного света Северной Африки и имеет совсем другие качества, чем свет в средней и в северной Европе. Особенно о последнем, о скандинавском свете, еще пойдет речь в другом месте.»

Глава 4. Детерминизм лингвистический

Для начала этого серьезного и где-то даже волнующего разговора вникнем в одно лингвистическое наблюдение Герберта Хаана:

«Прямо в сердце русского языка мы заглянем, если возьмем столь простое местоименное наречие, как “einander”, по-французски “l’un l’autre”, по-нидерландски “elkander”, по-шведски “varandra”. По-русски это называется **друг друга**. Стоит посмотреть на эту форму повнимательнее. **«Другой»** называется по-русски “der andere”, **друг** = der Freund. Кажется, славянским языкам вообще близко то, чтобы называть иного человека попросту другом. Например, в польском языке «drugі» – «второй», «другой», а «druh» – «товарищ», «друг». В болгарском языке «drug» - иной человек, «drugarj» – «товарищ», «коллега», «družba» и «priјateljstvo» - дружба. Однако “einander” в польском языке наиболее употребимо в виде “wsajemnie”, в болгарском как «jedin drug(i)» наряду с «wsa-imno». Русскому языку тоже известно «взаимно» в значении “wechselseitig” наряду с формой **друг друга**. Однако «взаимно», если можно так выразиться, не равня «друг другу». У него совсем иной социальный и моральный характер. Оно близко к словам «заимствование» и «заем», из которых первое означает “Entlehnung”, а второе “Anleihe”, “Borgen”. В слове «вза-имно» и в родственных ему славянских словах указывается таким образом на отношения обоюдного обмена. Здесь такой подтекст, который, пожалуй, надо сохранить в уме. А в русском «друг друга» витает совершенно иной подтекст. Если мы, не вдаваясь в исторические изыскания, просто услышим это ушами современного русского, то услышим «друг – друга». «Другой» в своей более старой форме просто-напросто стал «другом». Ведь если бы русский захотел перевести на свой язык наше сегодняшнее “einander”, то он сказал бы «один другого», что соответствует вышеупомянутому болгарскому “jedin drugi”. В русском языке силы словообразования действовали так, что целиком и полностью подвели “einander” к смысловому полю дружбы. И тут взаимность выступила в форме самой социальной и самой прекрасной из всех мыслимых. Не то чтобы человек, привыкший к современному русскому языку либо выросший в нем, осознавал, что на самом-то деле он говорит «друг – друга», если имеет в виду “einander”. Но язык нашептывает ему в подсознание нечто весьма важное. Во всяком случае гений языка сопутствует тому, что говорится, когда звучит это «друг друга» - то дружелюбно улыбаясь, то с тихим, но слышимым призывом. Ведь все в порядке, пока говорится «Они знают друг друга» или «Они любят друг друга». Но как быть, если звучит «Они ненавидят друг друга». Тут языку наносится душевная рана. И он предостерегающе взывает: Как? Они ненавидят друг друга? Друг –

друга?! И вновь мы чувствуем, как этот язык предрасположен к тому, чтобы соединять, даже невзирая на ненависть.»

«Ведь в данной стране что-то совершенно определенное происходит потому, что в ней говорят на этом, а не на другом языке. И в человеке, рядом с ним и вокруг него происходит что-то вполне определенное оттого, что он с раннего детства учится произносить именно такие-то, а не другие звуки», - пишет в другом месте Герберт Хаан.

Обратим внимание на исключительную диалектическую корректность формулировок. «**Что-то** совершенно **определенное** происходит». Именно «**что-то**» – то есть для рассудочного, абстрактного понимания не совсем ясно, что же именно. И в то же время речь идет о «совершенно **определенном**», то есть хорошо осязаемым, явно действующем, явно оказывающем влияние.

Были времена, когда начинало казаться, будто рациональное мышление вот-вот «сладит» и с языком. Например, период вульгарного толкования так называемой «гипотезы Сепира-Уорфа». Эти двое ученых в Англии и в США обратили внимание, например, на язык племени североамериканских индейцев, в котором отсутствовала грамматическая категория времени. В этой связи появились утверждения, что самого по себе понятия времени нет и в мышлении у носителей данного языка. Если бы им случилось самим подойти к созданию физики, эта наука была бы без понятия времени. Ну, а если речь идет не об индейце, а скажем, о русском. И не о физике, а, например, о природоведении? Может быть, есть глубинная закономерность между русским языком и фактом, о котором Герберт Хаан пишет следующее:

«В то время, когда последователи Чарльза Дарвина односторонне сужали и запикивали основные воззрения своего учителя в материализм, мотив «борьбы за существование» стал своего рода догмой, претендовавшей на всеобщность. Петр Кропоткин не отрицал, что «борьба за существование» играет большую роль, но он энергично оспаривал, что это единственный или хотя бы важнейший принцип развития. Во время экспедиций, которые позволили этому серьезному исследователю проникнуть в русскую природу, он производил наблюдения, которые показали ему, что в животном мире весьма действенна и сила, противоположная борьбе, сила социального, взаимопомощи. Кропоткин подчеркивал, что можно говорить о первостепенном принципе формирования и развития.»

Приведя далее обширные цитаты из работы П.Кропоткина, Герберт Хаан говорит, что они «показывают нам, насколько разное отношение к природе у настоящего русского и у многих сынов Запада. Разве не вспоминается при виде этой «взаимопомощи в развитии» о русском слове «друг друга»? Вне всякого сомнения, у Кропоткина была потребность почувствовать это «друг друга» – “*der Freund den Freund*” – и в животном мире. И самое прекрасное в том, что он нашел достаточно подтверждений этому в своих изысканиях».

Что же все-таки происходит в человеке (например, во мне!) и вокруг него (например, вокруг меня!), если у него родной язык, скажем, русский?

Очевидно, для ответа надо как минимум увидеть и понять, чем же таким отличается от других языков сам по себе русский язык. Нам как-то интуитивно понятно, что от языка того племени североамериканских индейцев и других экзотических говоров наш язык отличается довольно значительно. Но не мешает осознать, чем же именно.

«Важнейшей и в то же время увлекательнейшей задачей языковедения может во все большей мере стать определение того, из какой перспективы глядел на мир гений, создававший язык. Можно было бы развернуть вопрос и несколько иначе и попытаться выяснить, какую точку зрения занимает, собственно, говорящий, когда выражается средствами языка, в котором он вырос. При этом следует различать, идет ли речь о родном языке, который духовно кормил и поил человека, когда тот был еще маленьким несмышленным ребенком, или же об иностранном языке, которым кто-то овладел в результате целенаправленных усилий. Здесь нас должен интересовать прежде всего первый из названных случаев - отношение к слову в родном языке.

При поверхностном рассмотрении поначалу остаются на той наивной, в принципе, может быть, и простительной прописной истине, что каждый говорящий обращается к личности того, с кем он говорит, извлекая звуковые свойства слов из своего душевного центра, из себя самого. Таким образом, можно было бы говорить о горизонтальной оси языка. Она и впрямь может считаться само собой разумеющейся, по крайней мере, в сфере современных культурных отношений в полуденном мире. Именно вдоль такой горизонтальной оси движется и наше восприятие мира, как мы это совершенно естественно ощущаем. Мы видим мир как что-то большое вокруг нас, вливающееся в нас со всех сторон через органы чувств, к нему мы обращаемся при активности нашего мышления, которое начинает действовать изнутри наружу.

Еще не так давно и в некоторых языковедческих кругах принималось, что все это так и иначе быть не может во все времена и повсюду. В этом аспекте говорилось о сходстве, даже об идентичности строя человеческого сознания на протяжении всей видимой нами истории человечества. Такое филистерски-удобное воззрение, от которого все развитие в тот или иной период становилось подозрительно прозрачным и легко вычисляемым, получило пробоины с двух сторон. Как психология, глубже проникшая в первое детство человека, так и более точное изучение духовного содержания языков, бывших до того в отдалении, показали, что необходимо повсеместно считаться с изменениями сознания, с его метаморфозами. Существенно отличается от мира взрослых внешний и внутренний мир маленького ребенка; существенно отличаются современные формы мыслительного и чувственного сознания от мыслительных и чувственных форм сознания прежних культурных периодов.

Что помимо вышеупомянутой «горизонтальной оси» у речи и мышления могут быть и совсем другие направления, показывает, например, один из африканских языков – чубо. В нем полностью отсутствует обозначение для «я», которым мы в качестве говорящего постигаем себя изнутри. Член этого языкового сообщества вместо «я» говорит что-то вроде «мое тело там». Если он в состоянии аффекта или вражды убил человека, то он говорит об этом примерно так, что «этот или тот вон там умер от моего тела». И так же, как произносящий «мое тело там» взирает

издалека на свое физическое существование, точно так же тот же говорящий выражением «он умер там от моего тела» рассматривает самим им совершенное убийство как своеобразное стихийное природное явление, в которое сам он был втянут и попросту в нем фигурировал. Судья, которому пришлось бы выносить приговор, должен был бы не без сомнения спросить самого себя, где здесь можно и можно ли вообще апеллировать к ответственности.

Этот пример особенно яркий. Разница в «полях сознания» у европейских языков имеет гораздо более тонкие нюансы в сходстве и в различиях. Когда в одной из дальнейших глав этой работы речь пойдет о финском языке, мы покажем существенные отличия от усредненной «нормальной», «европейской» позиции».

Но не только самой перспективой, «из которой глядел на мир создававший язык гений», но и множеством вещей вполне конкретных язык влияет на наше мышление, поведение, мировоззрение. Чтобы это понять, начнем с самого простого – с моментов, которые у наших европейских соседей не встречаются (или встречаются только у славян), которые для них необычны, непривычны, которые приводят их к мыслям и выводам о нашей русской самобытности.

«Мы получим хорошее представление о психологии европейских народов, если послушаем, как некоторые из них говорят о собственности. Например, в немецком языке говорят «Я имею розу», «Я имею дом» и т.д.. Англичанин сказал бы “I’ve got a rose”, “I’ve got a house”. В разговорном русском мы бы услышали «У меня роза», «У меня дом». Для обычного, мыслимого прозаически, перевода здесь нет ни малейшей разницы. Но как обстоит дело с формами мысли, с психологическим подтекстом, выраженным в этих коротких предложениях? Посмотрим повнимательнее на формы английские и русские. На самом-то деле англичанин говорит не просто «я имею». В действительности он своим “I’ve got” утверждает, что приобрел розу или дом, что он достиг того, чтобы владеть ими. Предмет владения рассматривается как результат предыдущей деятельности, в известном смысле напряжения, по меньшей мере протягивания руки. И самосознание говорящего об этой деятельности знает. Таким образом, при помощи “I’ve got” высказывается ясное и решительное отношение к собственности, на нее падает волевой акцент.

Высказывание русского еще более далеко от «я имею». Он уклоняется от «имею» в совсем другом направлении. Или, может быть, можно сказать так: поскольку он как говорящий стоит на совершенно иной духовной основе, вопрос о собственности в ее обычной форме вообще перед ним не встает. Короткие предложения, начинающиеся со слов «у меня», при буквальном переводе означают «при мне роза», «при мне дом». При ближайшем рассмотрении мы обнаруживаем: о собственности в ее обычной форме вообще не говорится; вместо нее подразумевается бытие, но тоже не выраженное; «я» не выделяется в качестве собственника, а притягивается в опосредованной форме русским родительным падежом «меня», который мы переводим на немецкий дательным падежом “mir”. Давайте посмотрим, встречается ли где-либо еще столь заметное отсутствие общеупотребимых словесных категорий при описании собственности, и если нет, то подумаем, о чем таковое отсутствие свидетельствует.

С феноменом выражения собственности через бытие мы уже встречались. Например, в финском языке в той песенке о косоглазой красотке: “siniset silmat silla on” – «(небесно-) голубые у нее глаза», то есть «она имеет (небесно-) голубые глаза». В польском тоже для «иметь» употребляют “mi sie” – «мне есть». И на территории немецкого языка подобные формы встречаются в диалектах. В разговорном южнонемецком можно услышать выражения вроде «это не тебе, это мне». Иногда и с заменой категорий иного рода: «Вещь тут принадлежит *мой*» - “Das Ding da gehört *mein*”. Прямое употребление «я» избегается в разговорном языке и в других местах: мы это видели в итальянском языке. Особенно большую и боязливую петлю вокруг говорящего описывает шведский язык, когда говорит вместо “jag” («я») слово “en annan” («другой»). Но и это всего лишь диалектное отклонение.

Русское же «у меня» («при мне») вместо «я имею» употребимо во всех слоях населения и в литературе. И мы можем констатировать: не только описательно говорится о собственности, не только прямо не говорится о «я», но во многих случаях изымается и само бытие. Мы обязаны сказать «во многих случаях», потому что временами слово «есть» проступает. И мы чувствуем: никто из других говорящих не близок так к предмету своей собственности, как русский, когда он говорит просто «у меня». Да, возникает вопрос: можно ли вообще говорить здесь о «стоянии перед», заключенном в самом по себе слове «пред-мет»? Здесь собственное бытие сливается с бытием окружения, как мы переживаем это в творческом периоде детства. Отсутствует перспектива, заданная аналитическим рассудком, и предметы образно видятся такими, какими их представляли себе в ранние периоды живописи и какими их вновь начинают представлять в последнее время. Вещи не противопоставляются – они *прилагаются*. Если мы еще раз отнесемся к прилагательному как к при-лагающемуся, то будем вправе вновь подчеркнуть, что уклад русского языка прилагательный, что душа народа находится в прилагательном отношении к внешнему миру.

Таким образом, этим языком собственность представляется как нечто нежно охваченное, английским как волевым образом захваченное, а немецким как сознательно закрепленное либо прикрепленное. Между прочим, последнее отношение характерно и для целого ряда других европейских языков.

У не говорящего на языке может, пожалуй, перед лицом русской формы выражения собственности возникнуть вопрос: неужели столь развитый и культурный язык обходится без точного указания собственника? На это следует ответить, что логически ожидаемая форма для «быть собственником» уже есть, как и само собой разумеющиеся слова для чистого, направленного на самое себя «Я» и для бытия в самом себе. Так же, как для последних есть слова «я» и «быть», так и для “haben” есть слово «иметь». Но интересно посмотреть, когда это «иметь» появляется. «Я имею» вместо «у меня» русский обычно скажет, если захочет сильнее выделить отношение собственности, а чаще всего если захочет подчеркнуть свое притязание или право в противоположность другому, который *не* имеет и *не* притязает и т.д.. В таком случае и «я», и «ты», и «они» и «Вы» более выделены, а владение воплощается полностью и отчетливо. Другими словами, это в большинстве случаев происходит тогда, когда действуют «не» и «нет»..»

Позволим себе еще один пример, касающийся, так сказать, лексики русского языка. Разумеется, речь идет только о единичных примерах из удивительно большого их количества.

«К явлению соединимости или к желанию соединять мы, наконец, можем приблизиться с еще одной, неожиданной стороны, - со стороны негативного высказывания, самой своей формой отменяющего самое себя. Мы подразумеваем здесь сомнение, которое в русском языке самой своей формой вытягивает себя же за волосы. Мы уже встречались со словом «сомнение» в последней строфе стихотворения Лермонтова «Молитва». Лежащим в основе мыслительным образом оно отличается от всех десяти рассмотренных нами языков, а также и от немецкого языка. В итальянском “dubbio”, во французском “doute” и т.д. первая и важнейшая составная часть представляет собой латинское “duo”; это же “duo” лежит и в основе английского “doubt”. Все германские языки исходят от “tva”, “tve”, “tvi”, либо же от равнозначного “zwei” (два). Правда, в финском языке в его “epa-ilyl” нет «два», но зато есть соответствующая немецкому “un” отрицающая приставка; к тому же в родственном финскому эстонском языке тем отчетливее вновь проступает «два» в слове “kahtlus” (эстонское “kaks” = «два»). И перед лицом всех этих отягчающих показаний мы вспоминаем о том, как эти «два» связаны с «раздваивать» и с “Zwietracht” – с раздором. И вновь на ум приходят слова Мефистофеля из «Фауста»:

Auf Zweifel reimt nur Teufel sich –
Da bin ich recht am Platze.

С сомнением «черт» рифмуется лишь только –
Вот тут я правильно на месте.

В русском «сомнении» и, между прочим, в болгарском “ssammenije” на месте разделяющего «два» стоит соединяющая приставка «со» и “ssa”, соответствующая романскому “con”, немецким “mit” и “ge”. Во второй части слова, в «мнение», мы имеем тот же корень, что и в редком на сегодня слове «мнить». Он соответствует новонемецкому слову “meinen” и может быть отнесен к староиндийскому слову “manas” в значении “дух”. Но что же представлено в русском языке? То, что иначе становится Zwei-fel, метанием между решительным «там» и рецитательным же «сям», - это в данном случае доходит всего лишь до «со-мнить». Здесь не чувствуешь себя раздраемым противоречиями, а просто, пока думаешь об одной возможности, другая ощущается как нечто сопутствующее. В этом языке соединяющее, социальное настолько сильно, что побеждает себя и в кризисе сомнения. Можно подумать, что при таких обстоятельствах и сам черт затруднился бы с тем, где же ему тут быть на месте.

Невольно вспоминается, как француз Рене Декарт в триумфе самосознания поставил во главу угла своей философии предложение “Je doute – donc je pense” – «Я сомневаюсь, значит, я думаю». Как раз это высказывание стало исходным пунктом новой философии. Вспомнив об этом, мы молниеносно приходим к выводу. Мы видим: народу **сомнения, «со-мнения»** могло с трудом даваться формирование абстрактной философии. Но также ясно и другое: со своей

побеждающей и в кризисы силой соединения и объединения этот народ мог бы, даже должен бы сделать бесконечно многое для философии иного рода, еще более важной – для познания жизни и для житейской мудрости.»

И вот еще одно слово. Прямо от русского сердца:

«Поначалу в русском языке обращают на себя внимание такие слова, которые мы в противоположность «идолам рынка» Френсиса Бэкона хотим назвать логическими символами. О слове *«свет»* мы уже сказали, что оно может означать как «свечение», так и «планету». С этим словом русский живет «на свечении». Еще одно слово подобного рода «мир» (следует произносить *mjirg*) – самое объемное из нам известных. Оно имеет тройное значение: «планета», «отсутствие войны» и «крестьянская община». Это понятийное трезвучие не было задано изначально. Следует сопоставить две встречавшихся ранее в русском языке формы с разными «и». Но раз так случилось, и больше никакой разницы нет, мы можем задать вопрос: о чем говорит это соседство в русском языке понятий явно разнородных?»

Если мы не удовлетворимся тем, чтобы рассматривать это как чистое совпадение, то нам на самом маленьком материале будет сказано бесконечно многое. Это станет лейтмотивом наших глубоких раздумий, с этим можно писать целые главы об истории русской культуры: истории уже прошедшей и, видимо, той, которая еще только будет. Можно даже прийти к заключению, что в этих трех словах, помещенных под одной духовной крышей, каждое определяется двумя остальными и только так обретает свое полное значение. Значение не только логически понятное, закреплённое в определениях, но и такое, которое еще только предстоит реализовать, которое стоит перед народным духом в качестве нравственной задачи. Согласно ей мир как бы спрашивает нас, как ему реализоваться в качестве мирной общины. Задача головокружительной глубины. Ведь каждому не совсем наивному человеку ясно, что она не решается ни в активно-пропагандистском аспекте, ни в сентиментальном. Следует подумать о высказанном со всей резкостью суждении Алдоуса Хэксли, что в мирные времена, если они будут такими, какими были до сих пор, вследствие заостренней инертности в человеке скапливаются шлаки. Мир как мирная община – это призыв к новым духовным силам, которые сделают мирное время активным и творческим и сохранят его чистоту, как чистоту струящейся воды. В этом смысле слово «мир» означает призыв, который не должен умолкнуть, и в то же время оно означает исторический выбор, выбор будущего, производимый только огромными усилиями.

Значение родственности слов, означающих понятия отсутствия войны и общины, мы вправе предоставить склонному к тому толкователю. Если вспомнить о значимости, которую русская культура придала земледельцу, *крестьянину*, то наверняка не покажется излишней вольностью отнести понятие крестьянского *мира*, крестьянской общины к обществу вообще. Ясно, что по свидетельству самого языка русскому характеру присуще далеко идущее стремление к отсутствию войны.»

Десятки ярчайших примеров, каждый из которых свидетельствует об очень многом. Мы, носители этого великого и могучего языка, слышим слова, сами употребляем их, совершенно не задумываясь об их уникальности, о том, что они

способны поразить западноевропейца, рассказать ему что-то сокровенное о нас. Но в рамках данной публикации мы не можем приводить много примеров. Ведь раз уж зашла речь о русском языке, то не следует забывать о такой стороне языка, как его фонетика. А ей Герберт Хаан уделяет самое пристальное внимание, причем при рассмотрении всех двенадцати языков.

На русскую фонетику, на русское «произношение» весьма полезно прежде всего взглянуть глазами иностранца:

«В своем прекрасном стихотворении о сражении при Бородино, состоявшемся во время похода Наполеона на Россию, Лермонтов среди прочего пишет:

Ведь были ж схватки боевые –
Да, говорят, еще какие –
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина.

Немецкоязычный европеец из средней Европы, унаследовавший больше сдержанности, нежели огненного темперамента, сотворяющий заостренными согласными словесные чудеса вроде «jetztzeit», встает в первой же из приведенных строк перед трудной проблемой. Здесь друг за другом следует ряд из четырех согласных, встающих барьером перед непривычным языком: ж – с – х – в. И проявляется феномен того, что незнакомый с русским языком или вообще со славянскими языками начинает эти звуки приспособлять, а это не получится ни сейчас, ни когда-либо. Он чувствует себя поставленным в языке перед задачей, жутко похожей на задачу о квадратуре круга в математике. Но на основе всего русского языка и с гибким языком во рту эта кажущаяся трудность разрешается с легкостью Моцарта. Визуально одинокое «ж» для начала притягивается к предыдущему «были», так что на самом деле слышится «былиж». Но уже в это время ощущается нечто от близости согласного «с», с которого начинается следующее слово «схватки», и звук «ж», вследствие «социально-языкового такта» и готовясь к прыжку вперед, отдает кое-что от своей звонкости. Теперь мост через пропасть построен, и тоже не вполне чистое слияние «х» и «в» происходит без труда. В ранние эпохи связки такого рода были нередкими и у германских языков. Для прыжка от «ss» к «ch» голландец приятно почувствовал бы себя подготовленным словами вроде «Схевенинген» и им подобными.

Да, немного сказать об этом можно при помощи анализа. Но чтобы это действительно сделать, нужно быть в потоке речи, и нужно припасти для своего языка во рту нечто от огненной прыгучести, которую мы наблюдали в танце.»

А вот соображения более общие. О том, что мы столь привычно называем «мягкими» и «твердыми» звуками:

«И все остальные согласные представлены в двух вариантах – одни отчетливо, другие едва заметно. При этом неудовлетворительны такие относительно грубые обозначения, как «твердый» и «мягкий». Ведь таким образом, если нарочно говорить абсурдные вещи, получается, что «твердое» «р» имеет как твердую, так и мягкую формы, а у «мягкого» «в» есть наряду с мягкой еще и твердая форма.

Точнее будет сказать: звуки смычные, щелевые, вибранты и полугласные – как их там ни классифицируй – имеют формы, склоняющиеся то к мажорному полюсу, то к минорному. Рядом с мажорной формой «п» в «сноп» проступает минорная в «сыпь (конец слова), а наряду с «б» в слове «лоб» есть «бь» в слове Обь (название русской реки). В последнем примере отчетливо видно, что при передаче этого названия по-иностранному через “Ob” данный нюанс просто выпадает.

Обратившись к ряду гласных, мы встретим очень похожие явления. В стихотворении «Зимний вечер» мы имеем формы как, *она, завоет, заплачет, обветшалой, зашумит, запоздалый, нам, зашуршит*, в которых звук «а» ориентирован в мажорную сторону. Но наряду с этим мы обнаруживаем слова *буря, крутя, дитя* с йотированным «а», представляющим собой самостоятельный, но весьма близкий звук. Так же союзу «и» (в значении und) соответствует йотированное “i” в слове «вихри».

Несколько сложнее обстоят дела со звуком «Е». Не йотированная мажорная форма, для которой алфавит вводит отдельную букву, встречается по сути только в начале небольшого числа слов. Это главным образом иностранные слова вроде *экзамен, электричество, элемент*. Здесь вступительное открытое «э» не имеет созвучий с «j” или «i”». Большинство других форм «е» йотированы, как, например, в словах *небо, заплачет, предо* и так далее. В латинизированной транскрипции мы договорились обозначать это коротким значком, предшествующим звуку, как в трех приведенных случаях. В начале чисто русского указательного местоимения «этот» звук «е» претерпевает легкую палатализацию вследствие приближения языка к мягкому небу. Возникает тонкая промежуточная форма, в которой есть что-то и от «е» в «экзамене», и от «е» в слове «небо».

Звук «о» опять же выступает в двух отчетливо различимых формах. Однако форма йотированная ускользает от взгляда, потому что почти всегда выступает в облике «е». Наряду с «вот» и «под» есть формы «лед» и «мед», которые при произношении выступают в виде «ljod” и “mjod”, часто с окончанием на «д», оглушенным в конце слова до «т».

Особое место занимает звук «ы», который мы передаем через “у”. В случае с ним можно говорить о преимущественно мажорном звучании, но есть различия, подлежащие сугубо научному исследованию.

В популярной же работе очень даже можно сказать следующее: у каждого русского звука, гласного либо согласного, есть милый братик. Это порождает в звуковом строе последовательный дуализм и тем самым поразительное разнообразие и многокрасочность. И здесь появляется несколько вопросов. Во-первых, можно ли в свете уже высказанных соображений по поводу других звуковых систем найти что-то такое, что подводит под общий знак различные варианты подобных систем? Далее может встать вопрос: не характеризует ли каким-либо образом рассмотренный дуализм всю духовную сторону языка?

У нас все время были поводы говорить о вполне определенной поляризации внутри рядов гласных. Мы называли ее поляризацией от “I” к “U”. Например, при рассмотрении скандинавского «а» мы находили, что в современном шведском языке этот «а» подвержен сильной тенденции притяжения к “u”, в результате чего он получает темную окраску «о». В датском языке, и не в последнюю очередь в зеландско-датском, мы видели, как «а» склоняется к «i» и в результате обретает

звуковые нюансы звука светлого, похожего на умлаут «а», не превращаясь в сам этот звук полностью. В Нидерландах мы на одном и том же языковом поле, при переходе от роттердамского выговора к гаагскому, наблюдали и тенденцию к «и», и тенденцию к «і» у звука «а». В русском языке между полюсом «и» и полюсом «і» вибрируют все звуки, за исключением, может быть, звука «ы».»

Но что с того? Можем ли мы в фонетических особенностях языка усмотреть что-то такое, что определяет, детерминирует психический склад народа или хотя бы свидетельствует о нем?

Отличительной особенностью произведения Герберта Хаана является то, что автор на поставленный вопрос отвечает однозначно утвердительно. Причем в этом аспекте его описания и утверждения на удивление конкретны. Речь идет уже не о созерцательном наблюдении с дистанции, а о системе оценок и соответствующих выводов, касающихся взаимосвязей между теми или иными звуками и национально-психологическими особенностями. Автор ссылается при этом на «звуковую физиогномику», на учение о качественном толковании звуков. Очевидно, как и все «учения», связанные с психикой, и это «учение» кем-то оспаривается. Кто-то, возможно, станет доказывать его субъективность, ненаучность, произвольность и т.д.. Однако мы русские. У нас – *сомнение*, а вовсе не “Zweifel”. И в данном случае есть смысл использовать подсказанное нам Гербертом Хааном преимущество. Соединим же разные мнения по крайней мере в одном аспекте: какие-то взаимосвязи между качеством звуков в том или ином языке и психологическими особенностями наций явно ощутимы (чу!!!) даже на интуитивном уровне. И поэтому сам разговор на эту тему полезен. Тем более, что в таком ракурсе все эти скучнейшие фонетические материи о «передвижениях звуков», «палатализациях», «назализациях», «вibrантах» и т.д. для многих впервые станут интересными.

Интересно уже посмотреть не так, как мы делали это в первом классе, когда проходили мягкий и твердый знаки. Ведь что дает по сути взгляд из общеевропейской языковой перспективы? Что в русском языке попросту вдвое больше звуков, чем кажется.

Но кое-каких звуков, распространенных в других европейских языках, в нем нет. Вспомним, как профессор Хиггинс мучил свою «прекрасную леди», заставляя ее правильно произносить чистый выдыхательный звук в словах вроде «Хампфорд» или «Хэмпшир». Отсутствие этого звука в русском языке привлекло к себе внимание Герберта Хаана. Посмотрим, как он описывает это явление, переходя на сей раз и к психологическим оценкам:

«Вспомним о том, что в самом общем виде полярность звуков “Н – S” является одним из важнейших феноменов в системе согласных звуков. При звуке “Н” дыхание свободно проходит из гортани через ближайший участок артикуляционного аппарата. Можно сказать, что дело формирования звука здесь еще в самом зародыше. Мы воспринимаем звук как бы исходящим из «уст Божьих». Слово «аллилуйя» в его старом виде, с “Н” в начале и в конце, хорошо и четко передает как бы эхо такого ощущения. В звуке “СН”, как мы это уже видели в испанском слове “Jota”, поток воздуха уже сужается. Он направляется ближе к препятствию в виде «велум палаты» – поверхности неба, он не загораживается

совсем, но становится стесненным. Говорящий не полностью отдается окружающему. Он делает это приглушенно и несколько сдержанно.

Прежде, чем приступить к этому поближе, рассмотрим и третий феномен – отсутствие длинного закрытого “Е”. Рассматривая этот факт, мы приходим к выводу, что и короткое “Е” - и открытое, и закрытое – тоже редко встречается в начале чисто русских слов. В случае с “Е” чаще всего преобладают формы йотированные или, как мы их назвали, минорные. Мы можем назвать их еще и такими формами, в которых слышится духовно-субъективная сфера говорящего. Сам по себе звук “Е” имеет свойство создавать барьеры для внешнего мира, до известной степени отторгать его. В случае долгого “Е” отторжение более размашистое и осознанное, а при коротком – внезапное и энергичное. Обе эти тонкости, как мы только что увидели, в русском языке присутствуют весьма ограниченно. Русский человек не строит барьеров против своего окружения. Он живет с ним, как мы это увидим еще и на других примерах, в теснейшей связи, во многом отдавая себя ему. Если бы он отдавался окружению без остатка, оно бы овладело всеми движениями внутренней духовной жизни, слишком сильно влилось бы в них. Даже звук “S” – один из самых первых сторожевых постов на границе с внешним миром – может быть оглушен смягчением и захвачен врасплох, как мы это видели на примере слова «рысь». Так что чрезвычайно тонким, но при непрерывном использовании весьма действенным противовесом срабатывает то, что в звуке “X” вместо “H” выходящий наружу поток воздуха постоянно чем-то ограничен и прижат. Могут сказать, что все это «едва-едва» и «чуть-чуть». Однако каждый язык, как мы догадываемся, является произведением искусства. А для произведения искусства как раз и важно, как сказал Репин «едва-едва» и «чуть-чуть».

Интересная деталь: русскому не нравится передавать при помощи звука «X» тот чисто выдыхательный звук «H», который встречается в немецком и во многих других европейских языках. Вместо этого он прибегает к звонкому “G”. Вследствие этого Holderlin появляется в русском языке как Гелдерлин, Heinrich Heine как Генрих Гейне. Таким образом, стремление избежать звука “H” с его свободно выходящим воздухом еще отчетливее проявляется в подобных переводах, которые делаются осознанно. Ведь смычной либо взрывной звук “G” еще дальше от звука “H”, чем звук “X”, сохранивший еще в себе некоторую динамику.»

В подтверждение этому добавим, что и сам автор стал «жертвой» указанной им тенденции. По звучанию было бы вернее называть его не Гербертом, а Хербертом. Но что-то заставляет транслитерировать это имя так, как это сделано здесь и как делается, например, при передаче имени «Герберт Уэллс». Был у нашего автора соотечественник и однофамилец, известный исторической науке. В историческую энциклопедию в России тот Herbert Hahn занесен как Герберт Ган. Но тут уж во мне как в переводчике что-то зашевелилось в обратном направлении. Какая-то небрежная фамильярность чувствуется в том, что немецкое слово “Hahn” стало «ганом», которое при обратной транслитерации сразу же будет говорить о никак сюда не подходящей английской “gun” – винтовке, огнестрельному оружию. Не мог я допустить и просто подстановку нашего звука «X» на место немецкого “H”, так как в результате вместо благозвучного немецкого имени получался какой-то «хан», который тоже здесь ни к селу, ни к городу. Без указания долготы гласного

это имя вообще по-русски «не звучит». Отсюда и мое стремление заставить русского читателя производить в целом несвойственное ему действие, прочитывая два звука «а» вместо одного. Так иногда делается с именами и названиями (например, местность Маас). В данном случае я рассчитываю на взаимопонимание и поддержку русскоязычного читателя. Ведь данное решение при всех его недостатках кажется лучшим из худших и уж во всяком случае продиктовано особенностями фонетического строя русского языка. По себе знаю, как портит настроение, когда некоторые русские, проживающие за границей, начинают внедрять в живую ткань звуков правила из другой языковой системы. Лично мне, например, заметно испортило настроение, когда в великий праздник 60-летия Победы приехал из-за границы один в общем-то русский и даже очень знаменитый певец и спел:

У незнакомого посОлка
На безымянной высотЭ...

И посреди праздничного, приподнятого настроения вдруг явилась неприятная мысль: Если расстегнутая ширинка указывает скорее не на нигилизм, а на свойства памяти, то в случае с забвением родной фонетики бывает и наоборот.

Однако завершим эту главу о «лингвистическом детерминизме» на ноте мажорной и приятной. Множество оснований для этого дает нам наш язык. Не мешает послушать, что о его поэтических качествах говорит знаток множества европейских языков:

«Чтобы правильно дифференцировать, вспомним еще раз о том, что мы, например, могли сказать о ряде итальянских согласных. Мы назвали его дионическим в противоположность ряду итальянских же гласных. Речь тогда шла об огненном, взрывном элементе. Но мы говорили и о том, что такой ряд гласных является главным образом отражением духовных движений и побуждений человека. Они вспыхивают при встрече с природой, но не вбирают в себя ее стихийные силы, как это можно еще ощутить на примере английского языка Вильяма Шекспира.

Согласные звуки русского языка занимают промежуточное положение. В них действует внутренняя жизнь с ее движениями и волнениями, во всяком случае, с ее эмоциями. Потому что для русского, как и для итальянца, не существует ничего, что он рассматривал бы без эмоций. Но одновременно этот язык, такой могучий и обильный в речи, очень близок к стихийным силам природы. Последние не просто описываются языком, но врываются в него и вырываются им. Там, где Пушкин описывает снежную бурю, не голая умственная схема: снежный вихрь крутится в душе у воспринимающего поэзию по-настоящему. Но он бушует не только в душе. Кусочек природной стихии вызван и воплощен магией языка и искусства.

Послушаем еще раз, чтобы живо ощутить, как **буря** – сестра адриатической Боры – ревет, воет и повизгивает зимним вечером.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,...

Сколько силы крутящего снег урагана веет от одного только «вихри снежные крутя!»...

«Об итальянском вокализме мы в свое время сказали, что он апполоновский. Тем самым мы подразумевали выпуклость итальянских гласных звуков, их оформленность как бы из чистых лучей света. Можно ли говорить о похожих свойствах и у русских гласных? Мы должны ответить на этот вопрос отрицательно. Они относятся к совсем другой сфере уже по своей лабильности, о которой шла речь в предыдущей части. Стоит подумать, наоборот, о безмятежной чистоте гласных *i*, *a*, *o* в звукоподражательном итальянском слове «*miagolare*», и вспомнить о словах рефрена в зимней песне о тройке, пришедшей нам на ум во время бесконечной езды по железной дороге:

Ямщик, уныло напева-а-а-а-я....

Кажется, будто русские гласные образуются при избытке дыхания, создающем небольшие волны вне их отчетливо выраженной формы. В разговорном языке это едва ощутимо, в поэзии проступает отчетливо, а в звуковом музыкальном ряде проявляется безгранично.

В таком текучем, многокрасочном ряде звуков конечные рифмы воплощаются очень хорошо, и прежде всего как бы сама собой подставляется конечная рифма многократная. Возьмем для примера рифмы из строчек первой и третьей в первых трех строфах «Молитвы» Михаила Лермонтова. Мы получим:

трудную – чудную
благодатная – непонятная
скатится – плачется

То есть пусть не совсем чистые, но все же тройные, трижды совпадающие рифмы. При этом в первых двух парах заключен момент, чрезвычайно редкий среди европейских языков: три следующих друг за другом звука «у» и «а» приводятся в созвучие с тремя соответствующими звуками в другой строке. Это дает очень своеобразный музыкальный эффект, и звуки «у» и «а» во всем стихотворении получают нечто от того большого дыхания, о котором мы уже говорили.»...

«Что нам здесь требовалось, так это указать на вокально-ритмические особенности, присущие русскому языку и далеко выходящие за рамки простого «рацио» и голой ясности. Между прочим, справедливо сказано, что конечная рифма намного больше отвечает естеству романских языков, среди которых она и появилась, нежели языков германских. В романских языках она предоставляет неисчерпаемые возможности благодаря играюще легкому совпадению многих слогов в конце слов. Однако сколько бы ни рифмовались многие окончания во французских окончаниях прошедшего времени и условного наклонения, но эти рифмы не так идут от «плоти и крови» языка, как в приведенных глубоко музыкальных стихах Лермонтова. Складывается впечатление, что конечная рифма

соответствует и естеству славянского языка, вроде русского, даже что она достигает в нем своей высшей точки.»

Глава 5. Экономическое бытие и народная психология

Если бы Герберт Хаан узнал, что представленные им описания, выявленные им «феномены» начинают вот так классифицироваться по «детерминирующим факторам», да еще и что дело уже дошло до детерминизма экономического, то он был бы очень обеспокоен и недоволен. Обеспокоен как представитель «мыслительной культуры полуденного мира», выдавшей из себя такое огромное количество абстрактных схем, что разочаровавшейся в них, по-старчески уставшей от схем вообще. А недоволен он был бы в особенности «детерминизмом экономическим». Как наследнику классической немецкой философии, «экономический детерминизм» для него в высшей степени подозрителен. Он должен казаться ему чем-то вроде тарана, специально созданного для пробития в кораблях идеализма дырок, через которые тут же неизбежно хлынет материализм. А уж этот-то последний для Герберта Хаана просто является синонимом даже не бездуховности, а какого-то примитивного оглупления человека, языка, народа, любой проблемы, любого вопроса и любой вещи.

Но, во-первых, именно и только для русских Гербертом Хааном выписано нечто вроде индульгенции на случай материалистического грехопадения. Так, в главе о Норвегии он говорит о способности русского духа «вынести огромную порцию материализма и не потерять своей теплой душевности».

Во-вторых, Герберт Хаан не стал бы возражать, если бы вместо слов «экономические детерминирующие факторы» мы сказали бы так: характерные особенности народов во многом обусловлены тем способом, каким тот или другой народ зарабатывал свой хлеб насущный.

Надо только понимать, что речь идет не о каких-то конъюнктурных моментах, а действительно о способах экономического существования, определявших собой экономическую жизнь нации в течение столетий.

Сопоставим два наблюдения Герберта Хаана:

Первое – о Нидерландах:

«Прямо скажем, что голландец любит воду, и в ней душа его чувствует себя как дома. Его симпатии так устремлены в эту сторону, что твердая поверхность, земля буквально мыслится с долей антипатии. О состоянии скуки он говорит «тут у меня земля», «тут я чувствую землю» - “ik heb het land”. Но и еще сильнее: он даже высказывает отвращение, омерзение тем, что «чувствует в этом землю» – “het land aan heft”.”

Второе – о том же предмете – земле – применительно к России. Но, поскольку данная работа посвящена именно России, цитата будет гораздо объемнее, и речь в ней пойдет не только о земле:

«Легенда о Геракле повествует о великане Антее, сыне Земли. Если его покидали силы, ему стоило только притронуться к земле, чтобы получить новую силу. Кажется, в русском человеке есть что-то от Антея. Он чувствует к «матушке-

земле» детскую привязанность. Мы говорили уже, рассказывая о местах ожидания, о людях, с удовольствием сидящих на земле. В прежние времена часто бывало, что люди при возвращении из дальней поездки опускались на колени и касались земли лицом. Похожее можно было часто видеть в церквях и часовнях.

У этого народа просторных далей, которому, как уже сказано, часто грозили холод и голод, земля особенно почиталась с древнейших времен как дающая хлеб. С **хлебом** у русского прочная связь. Это слово, заимствованное всеми славянскими языками из германского, запечатленное в позднейшем готическом «hlaifs», относит нас к временам, когда хлеб приготавливался без брожения, поджаривался, как лепешка. Но русский уже давно ел не тот старонордический или древнееврейский хлеб, а приготовленный из кислого теста. С мешком засушенного и порезанного грубого ржаного хлеба в качестве единственной пищи в пути он мог в качестве паломника пройти много миль и утолять голод неделями. Жажда утолялась простой водой, кислым молоком, квасным напитком из того же хлеба, в редких случаях чаем. Этой способностью извлекать из простейшей пищи силы для преодоления больших нагрузок русский походил лишь на китайца, способного жить горстью риса. Впрочем, старая русская поговорка гласит: **«щи да каша – пища наша»**. Но это больше относится к домашнему хозяйству. А хлеб – самая главная пища в пути, и не только на длинных дорогах, но и на жизненном пути.

Мы еще поговорим в другом месте о том, что в русской жизни оказались рано приглушенными дохристианские верования, упомянутые здесь уже несколько раз. Но в хлебе и в почитании хлеба они интенсивно проявляются. Хлеб считался рожденным матушкой-землей, но подаренным высшими небесными силами, священной силой солнца. Эта солнечная сила отражена в непереводаемом и на сегодня воспринимаемом весьма поверхностно слове – **слава**.

Как ни откроешь русско-иноязычный словарь, **слава** переводится как «Ruhm». Давайте же попробуем непредвзято обойтись таким переводом, послушав некоторые из многочисленных в прошлом строф старинного священного гимна.

Слава

Слава Богу на небе, слава!
 Чтобы правда была на Руси, слава!
 Краше солнца светла, слава!
 Чтобы большим-то рекам, слава!
 Слава неслась до моря, слава!
 Малым речкам до мельницы, слава!
 А эту песню мы хлебу поем, слава!
 Хлебу поем, хлебу честь воздаем, слава!
 Старым людям на потешение, слава!
 Добрым людям на услышание, слава!

Конечно, нелегко понять, что общего между правдой и известностью – «Ruhm». Но полной бессмысленностью таковая «Ruhm» становится, когда она журчит в ручьях и крутит мельничные колеса, обмолачивающие хлеб. **Слава** изначально столь же мало «Ruhm», как и возникшее из «gloria» французское «gloire». В обоих случаях здесь в древние времена было обращение к полноте космического света и к

божественным небесным силам, спускавшимся на землю в этом свете и вместе с ним. В озаряющем свете солнца виделось одно из их явных проявлений, но не единственное их проявление. Нет нужды утверждать что-либо на основе наблюдений почти невесомых. Но нет ли чего-то от этого элемента *славы* в том, что мы называли мягким сиянием над землей?

В начальный период своей истории русский воспринимал хлеб как нечто очень связанное с силами *славы*. Видимо, отсюда одна из самых выразительных строчек приведенного гимна:

А эту песню мы хлебу поем, слава!

И одновременно он воспринимал хлеб как соединение двух сил: святой силы свыше и не менее священной силы земли. С силами земли душа русского народа ощущала себя крепко связанной в первые столетия русской истории, в так называемые времена Рюриковичей. Это был одновременно и период, когда мимо России прошло все то, что в Европе исходило от Рима, римской культуры и латинского языка. Тем глубже древняя Русь – как тогда называли страну – попадала под влияние поздней греческой культуры. Отголосок ее, но отголосок хорошо слышимый, был передан русским Византией. Он оказался действенным и чувствовался продолжительное время. Еще в начале девятнадцатого века из уст русского можно было услышать слова вроде: «Мы ведь по сути греки!»

А вот о важнейшем действующем лице русской жизни:

«Все девятнадцатое столетие русского земледельца в Европе привычно называли словом *мужик* и часто, даже слишком часто, использовали его. Но в русском и в других славянских языках *муж* и *мужчина* означают на худой конец «Манн». Значит, при слове «*мужик*» можно в крайнем случае подумать о человеке из народа, но необязательно о земледельце. Для последнего предания столетий нашли название самобытное и уникальное. Он вплоть до рубежа двадцатого века назывался *крестьянином*. Но ведь это же просто означает наименование земледельца *христианином!* Слово *крест*, заимствованное из древневерхненемецкого “krist”, поначалу звучало «крестус». Значит, земледелец воспринимался носителем креста.

Мы вправе спросить: почему? И тут приходишь к выводу, что первобытное корчевание и обработка земли изначально воспринимались как хороший поступок, как дело преображения. А христианство было глубоко связано с силами преображения, с тем, что не просто пассивно принимается людьми от природы, а что трудом создается другая природа. В этой связи оно на более высокой ступени развития включило в себя трудовую мораль персов древнейшей эпохи Заратустры. Да, в русской природе была и все еще есть опасность за изобилием возможностей проспаться дело небольшое, но освобождающее. Тут земледелец еще не земледелец в русском значении. Если смотреть с этой стороны, то можно и иначе перевести уже указанные, но не полностью процитированные слова. «*Что ты спишь, мужичок*», - должно бы, собственно, означать «почему ты спишь, маленький мужчина?». Однако маленький мужчина становится *крестьянином*, носителем истинных сил преображения, как только вонзает плуг в землю. Вспашка, земледелие,

земледельческий труд становятся таким образом не просто важнейшим хозяйственным процессом – это непосредственно нравственный поступок.

Пусть даже имена и нравы постигаются только в процессе изменений, но все же здесь мы получаем золотой ключик ко многим тайнам русского. То, что крестьянин и вспаханное им поле были дороги русскому духу, особенно красиво отражено в одной из *былин* – русских героических сказаний, относящихся главным образом к рубежу первого тысячелетия после рождения Христа.

Однажды поехал далеко храбрый Микула Селянинович, весь исполненный смелости. Много подвигов уже совершил Микула, много славы они ему принесли. Чудищ всяких убивал, мужественно боролся с великанами и победил даже страшное чудище лесное, приманивающего и ужасного соловья-разбойника. Было ли на свете такое, что было бы не под силу одолеть ему?

Ехал так Микула и вдруг увидел крестьянина, шедшего по пашне за плугом. Пот катил у него со лба, и не было у него времени глянуть на Микулу. Герой, остановивший только что коня, увидел вдруг на краю поля странный предмет. А был это маленький кожаный мешочек, наполненный землей. Красивый мешочек, - подумал Микула, - надо бы его взять с собой. Наклонился он с коня и играючи протянул к мешочку мизинец. Но мешочек и не пошевелился. Схватил Микула всей рукой, а мешочек остался на месте, словно прирос к земле.

Разозлился герой, наклонился и принялся тащить обеими руками изо всех сил. Нечеловеческим усилием вгонял он коня и себя все глубже в землю, а мешочек не приподнялся и на палец. Сдался герой, покачал буйной головой и в досаде сказал себе: Как же так? Чудищ всяких я убивал, с великанами храбро бился, даже соловья-разбойника победил, а тут жалкий мешочек с землей сильнее меня!

В незамысловатом этом рассказе, если мы в него вслушаемся, все та же легенда о Христофоре. Но, как и следовало ожидать, в России легенда о Христофоре обращена не к воде, а к земле. Во вспаханной крестьянином и дающей хлеб земле не столько тяжести, сколько важности всего земного бытия – духовного веса, возникающего и растущего только вместе с самоотверженным трудом, вложенным людьми. И потому рыцарь мифологического периода должен был уступить перед юной реальностью *крестьянина*.»

Связь русского человека с землей Герберт Хаан ощущает настолько глубоко и повсеместно, что этим мотивом пронизываются его наблюдения за многими чертами русского быта, русской жизни, русской культуры. Вот только один пример из многих:

«Россия страна великих басов, как Италия – страна великих теноров. Конечно, они соотнесены своим странам не случайно. Итальянскому тенору можно, даже должно подняться из области очерченных форм в такие высоты, где воздух соединяется с чистейшим светом в *«серено»*. Русский же бас ныряет во тьму земли и пронизывает ее до невероятных глубин. Он протягивается к ней с внутренней теплотой, как бы желая смягчить твердое. Так он снова и снова причащается к матушке-земле своим пением. Ему непозволительно чересчур легко парить над нею, потому что она хочет, чтобы сначала ее подняли, понесли и придали ей форму. Таким образом, в баше душа русского народа поет особенно громко; а там,

где поет хор, он становится по-настоящему русским лишь при басах, способных музыкально взять другие голоса на свои могучие плечи.»

Совершив греховные поступки по части составления схем и «экономического детерминизма», мы теперь обречены остановиться на последнем более подробно. Но прежде остановимся на одном вопросе, который давно уже назревает у читателя, впервые задумавшегося о национальной психологии.

Глава 6. Существует ли «национальная психология»?

Вопрос этот имеет свою историю. В том числе историю политическую. Он явно связан с «интересами». И потому не так прост, как может показаться. К тому же речь идет не о чем-то таком, что можно вынуть из кармана и предъявить, как предъявляют вещественные доказательства. Психику человека и целой нации не измеришь аршином и не взвесишь на весах. Все это дает возможность сказать, что ее попросту говоря нет. Примерно такими словами: «Рассуждения о наличии у наций какого-то особого психического склада ничего, кроме тумана, не приносят».

Я процитировал по памяти фразу одной очень идеологической дамы из монографии, изданной в СССР в семидесятые годы. Точность цитаты здесь не очень-то важна, ведь подобное можно и поныне услышать от многих.

Оставим пока в стороне вопрос о том, почему такое говорится многими. Что можно ответить авторам подобных утверждений по сути?

Я, например, всегда спрашивал, на каком языке это произнесено.

Выслушав софизм о невозможности движения, древнегреческий мыслитель просто принимался ходить перед оппонентом. А человек, который доказывает отсутствие у наций психического склада, сам себя опровергает своими же действиями. Тем именно, что он говорит или пишет. Ведь говорить или писать можно только на каком-то языке. А достаточно сопоставить между собой хотя бы пару языков, как национальные своеобразия в мышлении, в поведении, в оценках, в чувствах станут очевидными. Кто считает, что это не так – пусть опровергнет конкретные описания языков хотя бы у одного только Герберта Хаана.

Да и то ясно: Человечество живет не в каком-то большом отеле со стандартными условиями в номерах, а на конкретных весьма различных территориях: на равнинах, в горах, в лесах, в пустынях, на островах.... Есть, конечно, люди, которые во всех этих местностях селятся в пятизвездочном отеле со стандартным набором условий и удобств. Им-то разницу между Нидерландами и Югославией, пожалуй, придется еще объяснять, сама по себе она для них не очевидна. Но всем остальным, которым видно, что люди живут в разных природно-климатических условиях, разговаривают на разных языках, по-разному добывают свой хлеб насущный, - таким людям совершенно очевидно, что и люди, соответственно, просто **должны быть** разными.

В нашей стране **политический** и **идеологический** вопрос о наличии или отсутствии у наций психического склада решался при всем драматизме политической истории на удивление однозначно. Даже в период полного и безраздельного господства того самого «материализма», который в глазах Герберта Хаана должен был бы утопить саму мысль о национальной самобытности, у нас особый психический склад признавался на уровне официальной теории

неотъемлемым признаком нации. Этому мы обязаны юному Сосо Джугашвили и его склонности еще в юные годы, задолго до прихода к власти, писать брошюры по национальному вопросу. Когда Джугашвили стал Сталиным, то формулировки из его юношеских работ превратились в непреодолимое препятствие для тех, кто отрицал не только национальную психологию, но даже и наличие национальных языков, стремился поставить на их место «классовые языки» и «психологию классов».

А сегодня? Я чуть было не написал фразу: «сегодня национальную психологию как таковую выгодно отрицать некоторым сторонникам глобализации». Но это неверная фраза. Им тоже невыгодно. Им ведь лучше было бы заранее знать, например, итоги референдумов по конституции объединенной Европы во Франции и в Голландии. Им важно прогнозировать дальнейшие трансформации политического строя на Украине и перспективы ее отношений с Россией. А это все вопросы, требующие внимательного изучения национальной психологии. Причем не только французов, голландцев или украинцев. Если, к примеру, украинцы в этом аспекте выступают в качестве объекта изучения, то национальная психология может вскрыть и специфические преломления в глазах тех, кто выступает субъектом, заказчиком исследования. Эти слова надо понимать буквально, в них нет никакой иронии. Достаточно взять двух уважаемых нами людей – Пушкина и Байрона – и почитать у одного «Полтаву», а у другого «Мазепу», как станет очевидной системная, национально-психологическая разница в восприятии и в оценке *одного и того* же материала. Я не берусь сейчас распространяться на тему, какой способ восприятия более объективен. Допустим, наше восприятие более затуманено. Допустим даже, что взгляд вольнолюбивого Пушкина, никогда не выезжавшего за пределы России, оказался более узким, чем у англичанина, занимавшегося свободой Греции. Но факт в том, что на Украине была, помимо Мазепы, еще и не менее колоритная историческая фигура Богдана Хмельницкого. И все это надо знать, вкладывая деньги в палаточный городок на «Майдане независимости». Иначе свои же деньги и свои же собственные успешные с виду меры могут принести эффект, обратный ожидавшемуся. Герберт Хаан это знает. Ему хватает мудрости Эдипа, чтобы остановиться перед «феноменом» байроновского «Мазепы» и пушкинской «Полтавы» и воскликнуть: «Но насколько же при всем родстве душ обоих поэтов различны у них взгляды на все, что изображается!» А описывая *русскую* природу, он рассказывает о ночи на *Днепре*. Сам же Днепр относит к русским рекам, наряду с Волгой и Доном. А вот Карпаты он исключает из русской территории. Речь идет, конечно, об авторе, который знал национальную психологию и умел видеть как историческую ретроспективу, так и перспективу.

Национальная психология существует, а знание ее – практическая необходимость. Таков вывод из этой главы.

[Глава 7. Способы бытия и способности сознания](#)

При определении экономических факторов, существенно влияющих на национальную психологию разных народов, самое трудное состоит в определении масштаба и дистанции, необходимых для правильных выводов.

Если, например, на Украине некоторое время, по выражению Президента РФ, «тырили наш газ», то речь идет о сиюминутном, конъюнктурном факте. Его никак нельзя всерьез рассматривать как долговременный «способ жизни», способ бытия. На психологию народа такое «дельце» повлиять не в состоянии.

А если много веков назад кочевые скотоводческие племена, жившие рядом с Русью, с Китаем, с Испанией и с Португалией, столетиями имели перед оседлыми земледельцами решающее преимущество в мобильности и потому облагали последних данью, то здесь уже речь идет о существенной характеристике, о способе бытия и для земледельцев, и для кочевников. О том, что безусловно вошло в психический склад соответствующих наций и передалось через поколения в виде системы оценок или же в виде вызвавших столь пристальное внимание к себе у Герберта Хаана слов-символов вроде русского слова «мир», непереводаемого испанского «сосиего» и непереводаемой же без привлечения русских слов «тоска» и «удаль» португальской «саудаде». К слову сказать, сопоставление между собой особенностей психического склада у русских и у китайцев еще дожидается появления на этой ниве своего Герберта Хаана. Из того, что сказано, можно предположить, что при всех различиях между рожью и рисом, между «китайской грамотой» и строем русского языка, при всех различиях во внешнем облике двух народов сходств между ними может оказаться куда больше, чем принято считать. Особенно если иметь в виду прежде всего жителей внутренних, то есть не приморских, провинций Китая. Ведь способ бытия у живших там людей был в течение длительного периода времени существенно схожим со способом бытия наших предков в России. То же самое занятие преимущественно, то есть почти исключительно, оседлым земледелием. И то же соседство с мобильными племенами скотоводов-кочевников....

Здесь важно еще почувствовать и масштаб времени. Национальные характеры на той самой «божественной кузнице» не штампуются под заказ и за короткий срок. Соответствующие формы для заливки не делаются на этой кузнице под влиянием событий пусть даже и масштабных, но кратковременных. Например, масштабное событие в виде нашествия Наполеона на Россию не оставило в русском характере никаких негативных следов по отношению к французам. Некоторые исследования, проведенные в СССР еще в семидесятые годы, показывали даже, что французы являются для русских наиболее предпочитаемой из иностранных наций.

В течение нескольких последних десятилетий в Италию ежегодно въезжает столько же туристов, сколько людей проживает в самой Италии. То есть туристический бизнес становится существенной чертой способа экономического бытия итальянцев. Если таковая тенденция закрепится на длительный, исторический промежуток времени, то она безусловно повлияет и на национальный характер итальянцев. Можно предположить, что на итальянских улицах приутихнет тот колоритный шум «кьясса», о котором красочно рассказывает Герберт Хаан. И уже чем-то иным повеет от самой обыкновенной фразы из итальянского быта, о которой наш автор говорит так:

««Ганс, ты уже купил хлеба?» Что в этом предложении особенного, если мы произносим его где-нибудь в средней Европе с оттенком то увещевания, то негромкого приказа. Предложение остается прозаическим, достаточно будничным. «*Giovanni – hai già comprato il pane?*» (Джованни, ты уже купил хлеба?). Это надо

услышать в гуще итальянской народной жизни, как это, например, кричится через улицу! В зависимости от местности и от силы вступления можно подумать о мелодичном затакте у трубадура. Например, в Неаполе, где диалектично окрашенное благозвучное и печальное “pane” будет уноситься с долгим затихающим минорным резонансом.»

Но пока что в Италии продолжают петь арии, даже когда просто просят купить хлеб. А испанец по-прежнему относится к окружающей действительности по-своему, по-испански: **«Он никогда не примет ее серой, с таким примерно настроением, с каким в постирочный день хлебают ложкой картофельный суп. Со стороны внутренней его восприятие поднимается в сферу мистического, со стороны же внешней он не может поддаваться плоскому реализму, он доходит до карикатурного, до гротескного, но принимает и то, и другое с человеческим теплом.**

Ангел и иерархи с одной стороны - домовый и демоны с другой, и все одинаково близко.»

И русский земледелец, всего лишь одно-два поколения назад переселившийся в город, в своем психическом укладе остается тем самым земледельцем и не случайно обзаводится своими «сотками» и обрабатывает их, не считаясь с экономической целесообразностью.

Пытаясь выделить существенные особенности экономического бытия, мы обратили внимание, что русские в течение длительного исторического периода были преимущественно оседлым земледельческим народом и проживали по соседству с племенами кочевых скотоводов. По этим двум признакам мы близки с исчезнувшей Византией, с Испанией, Португалией, с Китаем. Но экономическое бытие России было просто уникальным, если принять во внимание тот факт, что в отличие от всех перечисленных стран и народов мы были еще и далеки от морских сообщений.

С открытием новых континентов и с появлением парусных кораблей, способных маневрировать, а не просто плыть по ветру, мореплавание становится для некоторых народов важным способом экономического бытия.

Герберт Хаан прямо говорит, что португальцы и голландцы начинают оформляться в качестве самостоятельных наций только с того момента, как приступают к реализации своей «морской миссии». Мы знаем, что таковая «миссия» весьма активно выполнялась еще и испанцами и англичанами.

Португальский народ с его «саудаде», непередаваемой без привлечения русских слов «тоска» и «удаль», стал народом «маринейро» – моряков. А русский остался страной *крестьян*. Общность весьма существенных черт экономического бытия, имевшая место до того, сменилась поразительными различиями. Но как знать, может быть, «на память» о том времени, когда мы жили в столь одинаковых условиях, у португальцев обнаруживается следующее:

«Но выражение «les extremes se touchent», кажется, в Португалии оправдано и еще в одном смысле. Люди, много поездившие по Европе и имеющие слух к языкам, всегда обращали внимание на то, что звуковой характер португальского языка в

общем и целом напоминает известные славянские говоры. Этот факт настолько объективен, что безо всяких прописан во введениях к курсам португальского языка. О «влияниях», столь ревностно искавших в эпоху позитивистско-материалистической филологии, конечно же, ни в малейшей степени речи не идет. Схожие духовные тенденции и похожие душевные переживания порождают и похожие формы выражения, в том числе и в случае отдаленности во времени и в пространстве. Проявляющееся в определенных феноменах родство может в таком случае иметь и симптоматическое значение. Однако для изучения этого родства потребуются много научной точности и столько же художественного вкуса. Поэтому будет, конечно, оправдано, если мы в нашем схематичном изложении будем довольствоваться просто указанием на феномен звукового сходства.

Помимо встречающейся как в португальском, так и в русском языках тенденции вместо заостренности и оформленности уходить при произнесении различных звуков к широкому, диффузному и смягченному, есть еще и закрытое произнесение отдельных гласных, которое, если можно так выразиться, «режет уши». Так как явление с поразительным сходством встречается на западе в португальском языке и на востоке в русском и в других славянских языках, оно указывает на артикуляционную базу, совпадающую до мелочей. Феномен можно «пощупать руками», если дать португальцу сказать свое любезное “*obrigado*” – «спасибо», и сразу после этого послушать русские «спасибо» и «пожалуйста». Слушатель окажется попросту в кругу одинаковых звуковых тембров.»

Мучительно и противоречиво происходило превращение народа земледельцев в народ моряков. И это в стране, которая своим положением буквально «открывает себя морю»! Мне кажется, если вникнуть в одно описание Герберта Хаана, то как-то иначе, в ее подлинном величии, представится русскому человеку эпоха «славных дел Петра»:

«Чрезвычайно интересно увидеть, что этот процесс мог начаться только благодаря тому португальскому свойству изменчивости, которое мы уже знаем по другим проявлениям. Когда мотив географических открытий уже звучал в воздухе, когда пришли в брожение силы *саудадэ* в смысле тоски по далям, тогда оказалось, что не было моряков, выросших до уровня новых задач. Как только корабли удалялись от побережий слишком далеко или вообще начинали плыть в неизвестность, команду охватывала паника. Со стойкостью суеверия господствовала боязнь заплыть в какой-то момент в окружающую мир пропасть. Уже воспринятые образованными людьми представления о шарообразности земли совершенно не разделялись народом. И как только подобный страх поселялся среди команды, уже не помогали ни угрозы, ни уговоры. Люди просто восставали, и нередко доходило до бунтов с тяжкими последствиями. Таким проявлениям долго не могли ничего противопоставить. И было сказано: нужны капитаны и штурманы, которые помимо знания морских наук обладают таким личным мужеством и авторитетом, что способны увлечь за собой боязливую или измученную страхом команду. Люди мужественные и авторитетные –говорилось далее – у нас уже есть, но им к несчастью не хватает морского образования. При этом имелись в виду рыцари. И тогда появилась новая идея. Была ли она принесена

извне или же сама вспыхнула в душе рыцаря, но в один прекрасный день было решено: некоторые рыцари должны были решиться стать моряками.

Если принять во внимание весь менталитет и в особенности предрассудки того времени, то поначалу идея казалась абсурдной. Но она получила неожиданную поддержку «свыше», потому что за ней стояли дух времени и рождавшаяся душа португальского народа. И произошло нечто весьма необычное: португальские рыцари действительно были обучены теории и искусству навигации. Писавший на средневерхненемецком языке Гартман фон Ауе, как известно, начинает своего «Бедного Генриха» словами:

Был рыцарь столь ученым, что
он в книгах мог прочесть все то,
что сам хотел там написать.

Так что удивительным было даже то, что рыцарь мог читать книги. А то еще более удивительное, что произошло в Португалии на заре нового времени, оправдывало появление португальского «Гартмана фон Ауе». В писателе Камозе спустя поколение после открытия Америки проявились чувства подобного рода.»

[Глава 8. Мореплаватели и земледельцы](#)

Сравнивать себя с англичанами и с американцами – это в России не прихоть политиков или писателей, а настоящая народная традиция. Достаточно вспомнить песню «Дубинушка», в которой упоминается, между прочим, «английский мужик».

Поэтому мы вправе считать, что не уходим от темы о России, если несколько подробнее обратимся для сравнения к Англии.

При этом сразу же бросаются в глаза противоположности.

Россия – огромная территория, исторически очень удаленная от морских коммуникаций.

Англия – небольшой остров, изначально близкий к морским путям, а впоследствии ставший едва ли не их центром.

Россия – страна, в которой принято при письменном обращении писать другому человеку «Вы» с большой буквы.

Англия – страна, где ко всем без исключения обращаются при помощи одного местоимения “you” с маленькой буквы, зато во всех случаях слово «Я» пишется с большой буквы.

Россия – вплоть до середины двадцатого века страна преимущественно земледельцев, страна сел и деревень, страна крестьян.

Англия – страна, в которой несколько столетий назад овцеводство вытеснило земледелие вместе с земледельцами, страна, переставшая пахать и начавшая плавать по морям.

Что такое мореплавание как способ экономического бытия целого народа? До эпохи великих географических открытий это прежде всего рыбная ловля, перевозка торговых грузов в основном в пределах Средиземного моря и отдельные набеги на прибрежные селения наподобие тех, что производились викингами (норманнами), в том числе на Англию. С наступлением эпохи великих географических открытий

сюда добавились трансокеанская торговля и ее сверхдоходная часть в виде работоторговли + колониализм + пиратство.

Ясно, что обращение к совершенно новым способам экономического бытия должно было вызвать весьма существенные изменения в психическом складе английского народа. О них-то и свидетельствует, на наш взгляд, тот феномен английского языка, который Герберт Хаан описывает, но не объясняет:

«Но в противоположность богатству и изобилию словарного запаса в том английском языке, каким он стал в результате названных факторов, в повседневной речи у британцев проявляется странный феномен. Среди всех европейских народов именно британец обходится в практической речи самым небольшим количеством слов. Всегда трудны и всегда в зывают отторжение попытки выразить в цифрах соотношения в сфере неуловимых явлений. Но считается, что европеец с высшим образованием использует в среднем 4 –5 тысяч слов. Англосаксонец с тем же уровнем образования обходится тремя тысячами слов, а человек из народа, говорящий на английском языке как на родном, использует, согласно оценкам, всего 500 – 800 слов. При этом количество слов, встречающихся в произведениях Шекспира, превышает двадцать тысяч!

Откуда такое странное расхождение между исторически накопленными языковыми богатствами и фактическим употреблением языкового материала? Ведь это расхождение, это вопиющее несоответствие несомненно существует, оно выражено в большей степени, чем у любого другого европейского народа, независимо от того, более или менее точны количественные данные. Здесь мы имеем дело с явлением, которое, видимо, никогда не сможем объяснить полностью, но которому должны уделить внимание. Ведь здесь мы можем, кажется, ухватить нечто существенное не только из жизни английского языка, но и от важной части английского естества и английской истории.

Поглядим вначале безо всяких «так как» и «потому что», то есть без причинно-следственных оценок, на интересный момент из истории английской духовной жизни. Это момент, когда живший в 1561 – 1626 годах Френсис Бекон, названный также «Беко из Верулема», подверг жесткой и беспощадной критике «слововедение». Бекон хотел основывать все науки на чистой предметности, на трезвой оценке эмпирических фактов и особенно подчеркивал, что ищущий познания не должен позволить ослепить себя ложными образами. Эти ложные образы он назвал «идолами», и различал среди них несколько категорий. Особенно дурными, соблазняющими и одурачивающими он считал идолов из сферы повседневной торговли и сделок. Он называл их “*idola fori*” – идолами рынка. К ним он относил все те ложные образы, которые проявляются там, где люди дают себя одурачить просто знанием слов. Бэкон очень хорошо понимал, что слово и язык наряду с рациональной компонентой имеют еще и иррациональную. Но именно эта последняя и казалась ему в высшей степени подозрительной. Он стремился полностью от нее избавиться, и таким образом стал одним из первых критиков слова нового времени.

Френсис Бэкон современник Шекспира. И есть странная историческая антиномия в том, что именно в период, когда Бэкон подрубал корни словам и языку,

английский язык и английское слово расцвели полным цветом. Можно даже сказать, что английский язык впервые воплотился в Шекспире.

Разумеется, нельзя считать, что философия и критика Бэкона оказали столь уж большое воздействие на народ. Но, как представляется, этот человек подал сигнал, будучи на службе у объективных сил, на службе у духа времени. Ведь налицо тот странный факт, что с этого времени рядом с органически более богатым, художественно выразительным языком начинает формироваться и другой английский язык, предназначенный больше для дел житейских, для потребностей текущего дня. Но только мы не вправе слишком узко понимать эти житейские дела и потребности текущего дня, а видеть их в формате гораздо больших понятий.

Конечно же, не с сегодня на завтра, а в течение длительного времени совершилось изменение, которое мы могли бы описать следующим образом: Более богатые органические формы прежних времен демонтировались или подлежали сокращению. Однако таковой демонтаж, кажущийся упадок не всегда являются признаком распада или даже болезни. Они могут быть также и симптомом проникновения, вторжения позитивного духовного фактора. Этот фактор мы называем сознанием. В жизни отдельного человека любой процесс сознания связан с уменьшением нервной субстанции. Наиболее подходящим образом здесь является горящая свеча: она может давать пламени гореть, лишь расходуя свою твердую субстанцию. Просто у человека «субстанция свечи» возобновляется каждую ночь во сне. Если же в течение дня вместо нормальных процессов расходования наступает растительная жизнь, то пламя по-настоящему не горит, и сознание затемняется. В жизни языка расход органических форм тоже может, если будет позволено так выразиться, заставить ярче вспыхнуть свет сознания. В этом случае язык в некоторых его аспектах теряет в духовной выразительности, но зато становится более надежным, легким и удобным инструментом мышления. Именно это, кажется, произошло с известной частью английского языка: что-то он потерял от своей органичной многогранности, но с другой стороны приобрел в применимости, в *функциональности*.

Функциональность эта на удивление гибкая и широкая. Большая масса слов отодвинута в сторону и находится в своего рода колдовском сне, зато другой части предоставлена возможность участия в сотнях ситуаций в сжатой, выразительной физической форме. Можно говорить о почти неисчерпаемых возможностях, связанных с глаголами “to do”, “to go”, “to get”, а также и с “to make”, “to keep”, “to turn” и им подобными. Одно только словечко наподобие “to get”, кажется, обработано таинственной волшебной палочкой: почти невозможно придумать жизненную ситуацию, с которой бы оно не справилось в языковом отношении. А изменение значения, которое в китайском языке одно и то же сочетание звуков претерпевает в результате изменяющего смысл ударения, выражающегося высотой тона, указанные английские слова осуществляют другим способом. Можно сказать, что они с удивительной пластичностью реагируют на ситуацию, что у них своего рода ситуационное ударение.

Благодаря этой функциональной легкости, достигнутой простейшими средствами, английскому языку при всей его предметности свойственно и что-то вроде творческой гибкости. Например, говорящий не связан, как в большинстве других языков, теми категориями, что выражаются в понятии существительного,

прилагательного, глагола. Поставив впереди маленькое словечко *to*, можно в одно мгновение превратить почитай что любое существительное в глагол. “Mail” значит почта, “doctor” – врач; “to mail”, особенно в американском английском, означает отправлять письма; “to doctor” – лечить. От имени ирландского капитана Бойкота, которого в свое время уважали за строгость, образован глагол “to boycott”, доступный нам в форме «бойкотировать». В одной из своих драм Шекспир заходит так далеко, что производит глагол даже от слова «дядя»: «не дядькай мне» – “uncle me no uncles”.

Поскольку в английском языке существительное превращается в глагол с гораздо меньшими усилиями, чем в других языках, на место существительного как бы для равновесия в свою очередь становятся прилагательные и глаголы. Причастие воспринимается согласно смыслу своего названия, поскольку оно и при глаголе, и при прилагательном. Предложения, опирающиеся на такое причастие, особенно на причастие настоящего времени - *participium praesentis* – весьма часто встречаются в английском языке. Говорят об особой любви к «причастным конструкциям». Там, где они выступают, глагол несколько утрачивает свой динамический характер, в результате небольшой перемены формы высказывание сдвигается от подвижного к более постоянному и предметному. В этих случаях при переводе, например, на немецкий язык возникает впечатление, с одной стороны, какого-то сокращения, а с другой стороны, тяжеловесности. Далее мы приведем небольшую иллюстрацию к этому. Сначала посмотрим, как из глагольной формы причастия настоящего времени в один миг делается существительное. Кому не встречались все эти «шоппинги», «вокинги», «дансинги», которыми кишит английский язык! Выражается ли этим, как легко может показаться, то же самое, что в немецких словах “das Einkaufen” – покупание, “das Gehen” – ходьба, “das Tanzen” – процесс танца. Возникает ли полное соответствие английским образованиям тем, что небольшим добавлением артикля глагольная форма переводится в существительное? Так кажется при поверхностном взгляде и при недостаточном чувстве языка. «Дансинг» – это не просто “das Tanzen” – «танцевание». В последнем случае прорыв в существительные внезапный и жесткий, а в случае с «дансинг» он благодаря свойственному причастию характеру прилагательных более плавный, лучше вводящий в ситуацию. Можно даже сказать, что в этих формах на «инг» больше душевного участия, чем в абстрактно образованных именных формах глагола...»

«Немного понаблюдав изящные переходы слов в разные части речи и обратно, обратимся все же к основной теме: к упрощениям среди поразительного богатства.

Впечатление в какой-то мере таково, будто осторожные, но сильные и властные руки духов приложили все силы, чтобы в современном английском языке расходовалось в речи возможно меньше душевной энергии. Можно говорить о принципе экономии, даже о спартанских правилах. В известном смысле еще и о пуританских, если принять во внимание, что в некоторых сферах культурной британской жизни параллельно и почти одновременно с языковой тенденцией к сжатости, к упрощению, к снятию всевозможных украшений развиваются соответствующие процессы и в социальной жизни.

Попасть несколькими словами точно в цель становится искусством, прямо-таки напоминающим римские или спартанские прообразы. Например, в сети

лондонского транспорта спрашиваешь об определенной станции. Классический ответ гласит: “Each train – inner circle” – «Любой поезд – внутреннее кольцо». На немецком языке, особенно на южнонемецком, подобный ответ звучал бы, видимо, так: «Сейчас, подождите, пожалуйста... Да, Вы можете воспользоваться любым поездом, если садиться на внутреннем кольце». Все это, разумеется, еще и сказано с диалектным произношением. Во многих романских странах в таких случаях состоялась бы целая демонстрация с размахиванием руками и вращением глаз. А здесь всего лишь «ич трейн – инне секл». Но следует отметить еще и то, что говорится это без пафоса, который слышен в знаменитом “Veni, vidi, vici” – «пришел, увидел, победил». Говорится это флегматично, правда, флегматичность тут величественная, в ней дремлют сотни возможных проявлений активности.

В самое последнее время развилась и еще одна форма скупой речи, которая относится больше к содержанию произносимого: “understatement”. В немецком языке соответствующего слова нет, но можно представить его в качестве антонима «преуменьшение» к хорошо известному слову «преувеличение». В преуменьшающем «андерстейтменте» собственная значимость действия, события переносится говорящим в формат лилипутов или почти что стирается. Например, компания путешественников совершила восхождение к Этне, а вулкан внезапно проснулся и чуть не похоронил участников этого похода под камнями. На следующий день один из британских участников, отвечая на вопросы журналиста, заявляет: «Да, вулкан выплюнул несколько камешков»! Другой возвращается из опасной полярной экспедиции и говорит: «Да, там и нос можно было заморозить».

Хороший пример «андерстейтмента», связанный с сухим английским юмором, привело некоторое время тому назад одно юмористическое издание. Выпал один пассажир из поезда, ничего не сломал, но беспомощно сидит на железной дороге. Случайно проходящий мимо дорожный служащий похлопывает его по плечу и говорит: “Does’nt matter: your tecket entitles you to break your journey” – «Ничего, Ваш билет разрешает Вам прерывать поездку».

В «андерстейтменте» может быть столько же снобизма, сколько и настоящей скромности, героизма, а также и высмеивания всех условностей. Он прежде всего характеризует дистанцию, которую собственное «Я» поддерживает по отношению к своим делам и страданиям, дистанцию столь большую, что это «Я» в своем независимом самосознании может поигрывать с событиями и предметами. И этим совершенно не романтический «андерстейтмент» сближается больше всего с тем, что во времена Шлегеля, Тика и Эйхендорфа называли «романтической иронией».

С другой стороны, в том же самом языке удалось направить в немногочисленные, всегда готовые к употреблению формы выражение чувств более поверхностных, например, мимолетного сожаления, легкого удивления, доброжелательного, ни к чему не обязывающего согласия. Эти стереотипные обороты речи, которыми можно вести беседу четверть часа или больше, не более чем облачко сигаретного дыма, выдыхаемого в комнате. Вежливо и любезно делается вид сближения с другим человеком, хотя на деле тот держится на дистанции. В этом тоже ни больше, ни меньше, а экономия всех сил собственной личности и всех ее резервов. Но вот что своеобразно: здесь как бы небрежно и вяло, но чем-то вроде личностного осязания прощупывается личность другого человека и ее резервы. Такая же позиция будет заниматься и в более интенсивном разговоре. Не только

англичанин, но вообще англосакс придает мало значения отдельным произносимым словам. Как уже указывалось, он при помощи личностной интуиции, при помощи масштаба измерения личностных качеств наблюдает за тем, что стоит за словами.

Экономия в выражениях уже давно, видимо, еще с елизаветинских времен, перенеслась и на обращения. Из всех европейских языков английский единственный обходится в самых различных ситуациях одной только формой обращения – you. Только в поэзии, в святых писаниях и в обиходном языке квакеров еще сохранилось старое “thou” для «ты». Но для подавляющей части англосаксонской культурной жизни действительно без исключений только you. На самом деле это «вы» множественного числа, так что обращения выглядят исключительно демократизированными в стране, где аристократические предания и манеры живы еще и поныне. Такое упрощение в обращениях должно было оказаться решающим преимуществом при использовании языка в повседневном общении. Здесь момент несложности, непринужденности, который легко добавляется к той функциональности, о которой шла речь. Но при этом следует учесть, что “you” – то есть, на самом – то деле, «вы» множественного числа – всегда ставит и определенные рамки. Если употребляется «ты», как, например, это происходит в немецком языке и в условиях средней Европы, - то рушатся все стены между людьми, один человек непосредственно встречается с другим. Можно сказать, что настоящее «ты» обращается к «я» всегда и без обиняков. Но как раз от такого обращения к «я» и отказывается английское “you”, слегка приглушая интенсивность встречи и одновременно едва заметно давая ей свободный ход. Дистанция и резервы сохраняются и здесь.

Все это, разумеется, верно лишь при сопоставлении с древним «ты». При сопоставлении с немецким “Sie” – «Вы» или итальянским “Lei” английское “you” несомненно и безусловно представляет собой более демократичную форму. Но иногда и в самой английской жизни стихийно появляется потребность нарушить однородность “you”. Не звучит ли в этих случаях потихоньку и «иностраница»? Где-то рассказывалось, как англичанин женился на немецкой девушке. Она поехала с ним в Англию и быстро погрузилась в английский язык. Но однажды на раннем периоде брака мужчина страстно восклицает: «О, не могла бы ты сказать мне “ты”. Это вечное “you” делает тебя такой чужой!»...»

«Богатство английского языка, и не в последнюю очередь глубоко сидящая в нем музыкальность, начали становиться подспудными в то время, когда философствовал великий ненавистник языка Бэкон. Эти богатства были как бы зарыты за терновой оградой, из которой поэты постоянно извлекали цветы, а большинство душ могли паломничать туда лишь во сне. Язык же общения как будто по желанию критически настроенного философа странным образом вдруг преобразился и стал отличным инструментом, который не мог остаться без применения.

Именно этот инструмент был взят в руки, когда английское житье-бытье стало протекать не только на ограниченной территории, но и начало принимать мировые масштабы. Когда в паруса английских кораблей буквально подул свежий ветер и наступила та историческая весна, которая одновременно с колонизацией создала и первые формы британской мировой империи.»

Сопоставляя, сравнивая между собой английский и русский языки, англичан и американцев с русскими, мы должны понимать, что мореплавателю требуются упрощенные формы обращения, одинаковые по отношению к боцману и к африканцу, перевозимому в трюме корабля. А земледельцу можно и должно придумывать весьма витиеватые формы, разные местоимения, употреблять имена отдельно или с отчествами по отношению к более молодым или более старым, к соседу или к барину....

В двух странах бывших мореплавателей некоторое время назад было предложено «освободить» Ирак. Мысль была населением одобрена и вскоре реализована.

В тот же период времени один политик выступал в стране земледельцев с предложением «освободить» Иран. Идея эта была принята за причуду одного человека и в качестве таковой воспринимается до сих пор.

Знание национальной психологии дает возможность сразу же понять степень «проходимости» тех или иных идей у разных народов.

Хорошо это или плохо, что одни и те же идеи так по-разному воспринимаются и *будут* восприниматься разными народами?

Национальная психология – это не критерий оценки и не икона. Она просто то, что есть. То, что необходимо учитывать при определении целей и способов их достижения. Но при явном противоречии целей народной психологии от таких целей лучше бы по-хорошему отказаться. Ну не захотят потомки земледельцев «освобождать» далекую, незнакомую, чужую страну, даже если там много нефти! В зависимости от вкусов можно назвать это миролюбием, а можно и деревенским изоляционизмом. Суть не изменится.

[Глава 9. Музы в России](#)

Интересно послушать оценки, которые Герберт Хаан дает разным видам русского искусства.

Его не очень-то увлекают русские архитектура и скульптура:

«Глядя на дома в Италии или в Испании, можно подумать, что вначале они были найденными или выдолбленными в скалах пещерами. При виде русских домов и хижин может появиться мысль, что это поднятое на поверхность подземное царство или густой лес. Хотя строительство церквей и крепостей и обнаруживало в средние века весьма самобытные и искусные черты, все же архитектура не относится к сильной стороне художественной одаренности русских. Или, по крайней мере, не была таковой до сего времени.»...

«Почти повсюду в стране видишь сооружения роскошные и монументальные, но они часто тяготеют к чуждым архитектурным формам, если только не нарочно созданы по ним. Об исключениях, относящихся к более давним временам, мы уже упомянули. Многие достижения заслуживают глубокого восхищения с сугубо технической точки зрения. Но сама по себе архитектура у людей *пространства* пока что в периоде становления. Может быть, когда-нибудь она освободится от ассирийско-египетской колоссальности и обнаружит динамичные формы, более родственные музыке.

Пластика тоже в зародышевом состоянии и, значит, легко могла бы найти связи с ранними направлениями этого искусства. Как уже сказано, у русского и, может быть, у славянина вообще поначалу нет сильной тяги к архитектурности человеческого тела. И тем сильнее он ощущает его пластичность. Он даже чувствует в себе так много непосредственной пластики, что какое-то особое скульптурное творчество кажется ему почти что излишним. Изначально оно представлялось ему разновидностью культурного плеоназма. Это отсутствие самой по себе потребности, видимо, давало о себе знать в гораздо большей степени, чем утверждавшаяся от случая к случаю церковно-религиозная заповедь «не создай себе идола».

Русская живопись вызывает у Герберта Хаана более лестные оценки. Но мы не встретим у него тех восторженных и захватывающих описаний картин, которые характерны для глав о Нидерландах, Англии, Германии. Он говорит о русской живописи в целом и хвалит не столько саму живопись, сколько русских людей, рассматривающих картины:

«А урожай на почве живописи оказался, наоборот, богатым. Это искусство прошло с древних времен ряд весьма значимых этапов. И что еще важнее: картины и различные полотна в любое время говорят представителям народа об очень многом. Во многих музеях и галереях мира картины, даже внешне хорошо сохранившиеся, теряют свой внутренний блеск, потому что разглядываются глазами усталыми, лишь внешне заинтересованными. В русских галереях они остаются, отважимся заметить, свежими и юными, потому что на них смотрят с живым интересом. Народ охотно впитывает в себя глазами. И в результате благодаря живописи появляется интимный фактор народного образования.»

И после таких относительно сдержанных оценок, о Читатель, приготовьтесь к похвалам неслыханным. Их заслужили наши писатели, наши певцы и музыканты, наши артисты и танцоры. Особенно приятно осознавать, что речь идет не о дежурных комплиментах, а об оценках, идущих и от ума, и от широчайшей эрудиции, и от сердца.

Мы не рискуем вырывать отдельные цитаты из большой главы о русских писателях, о русской литературе. Она интересна, полезна и содержательна вся целиком. Скажем только, что Герберт Хаан подробнее останавливается на Кольцове, Пушкине, Льве Толстом, Лескове и говорит о них то новое, что русский читатель вряд ли заметит именно в силу знакомства с этими писателями, именно в силу того, что он уже привык к ним. Для любителей и знатоков творчества Горького будет особенно интересно прочитать о едва ли не приключенческой встрече девятнадцатилетнего Герберта Хаана с Максимом Горьким.

Русское драматическое искусство, по мнению Герберта Хаана, привело к достижениям **уникальным**.

«Выдающиеся режиссеры достигли глубочайшего понимания живой конструкции драматического произведения и в особенности тончайших нюансов в раскрытии характеров. Они нашли актеров, которые почти в совершенстве могли реализовывать духовные замыслы режиссуры. Такие исполнители были в очень

большой степени одарены двумя свойствами: еще не тронутой свежестью и юностью души и в не меньшей степени вышеупомянутой пластичностью тела. В таких актерах могло невольно проявиться и еще одно качество. Сдерживаемый в народе инстинкт к воплощению и индивидуализации им можно было беспрепятственно переживать на своем особом поле. И они делали это, хотя бы и связанные самыми строгими рамками, с дионическим упоением. И те «резервы перевоплощения», которые отчасти уже израсходованы в других частях европейского мира, были отлиты ими в форме игры актеров. В этом искусстве перевоплощения и поза, вводящая слово, и мимика, сопровождающая его, могут быть настолько красноречивы, что полностью захватывают зрителя, даже если тот не говорит по-русски. В этой связи автору довелось наблюдать театр в театре, когда одна из русских трупп играла в большом немецком театре комедию Николая Гоголя «Женитьба». Подавляющее большинство зрителей не понимало ни единого словечка из русского текста. Но уже через десять минут контакт был установлен, и начали восприниматься все остроты и даже тончайшие намеки. Публика принимала их взрывами радости, настроение и в русском театре не могло быть более доброжелательным. Как это бывает еще только в Италии, здесь и впрямь разворачивалась вторая пьеса в самом зрительном зале. Среди публики не менее всех других зрителей оказались захваченными игрой актеров и несколько участников того актерского коллектива, которому принадлежала эта немецкая сцена. Автор услышал, как один из них невольно воскликнул, обращаясь к соседу: «Слушай! Вот как надо уметь играть!» В другой раз автору представился случай задать вопрос о Шаляпине итальянскому певцу Бенджамино Джильи. Джильи часто выступал вместе с прославленным русским коллегой в «Метрополитан-опере» в Нью-Йорке. «Шаляпин, - сказал Джильи с явным оттенком восхищения, - да, это был *кто-то!* Когда он вот так стоял, то ему и рта открывать было не нужно».

И раз уж зашла речь о Шаляпине, Герберт Хаан переходит к русским певцам и к русской музыке:

«Но каких бы выдающихся солистов в сфере музыки ни произвела Россия, а самое сильное впечатление от русской музыки получаешь, слушая один из больших хоров. Это относится и к церковным хорам, и к светским группам. В ритуалах греческой ортодоксальной церкви, исключая какую-либо инструментальную музыку, хор играет весьма существенную роль. Он не просто подчеркивает и сопровождает культовое действие, а является его неотъемлемой частью. Понятно, что, выполняя эту роль в течение столетий, он создал собственный художественный стиль. Более того, это пение, зазвучавшее с началом нашего тысячелетия, вобрало в себя еще и многое от таинств, лежавших в основе более ранних культурных форм. Их можно глубоко почувствовать вдруг посреди литании или панихиды. Здесь хор представляет таинства в манере, удивительно соответствующей таинству.

Слушание хорошего русского светского хора – это одно из базовых музыкальных впечатлений. Это объясняется не только уже упоминавшимися басами, ныряющими до невероятных глубин. Разворачивается свободная и в то же время четко определенная в своих колебаниях игра с тоном, который, кажется, больше

властвует над каждым в отдельности и над всеми вместе, нежели издается ими. Здесь кажется, что действует какой-то новый, своеобразный симфонический принцип пения. В этих хорах то прорывается раскованная природа с ее совсем еще необузданными дионическими силами, то вдруг тон касается таких сфер души, которые были закрыты для нас с самого раннего детства. Певцы, как уже сказано, кажутся полностью отдавшими себя какому-то объективному процессу. Нередко они немного наклоняют в сторону свои *буйные головушки* – *sturmbewegte Kopfe* – подобно птице, поющей прекраснейшую песню.

Подобные высшие достижения возможны лишь тогда, когда есть широкая несущая основа. Музыкантов, наблюдавших русское народное пение, всегда поражала легкость и естественность, с которыми в него вплетаются вторые и третьи голоса. И все это явно без какого-либо систематического обучения. И не удивись, когда услышишь, что для этого народа физический труд был в течение долгого времени немыслим без пения.

Незадолго до первой мировой войны группа русских рабочих на большой целлюлозной фабрике в Прибалтике бастовала из-за того, что ей запретили пение во время работы. Никакие переговоры не помогали. Когда людям сказали, что они как «нарушители контракта» не получают начисленного вознаграждения, то ответ был: «*Ничего!* Поедем домой без зарплаты. А если нам нельзя петь, то и работать не сможем».

Они действительно пустились в путь домой, и некоторые из них даже прошли пешком бесконечные дороги до Волги.

Фридрих Ницше однажды предсказал русской музыке большое будущее. Если к народной музыке добавить еще и богатейшие звуковые художественные композиции, то можно и впрямь почувствовать, что здесь еще появится поразительно многое. Социальные творческие силы народного духа в состоянии создать инструментальную и оркестровую музыку по свободному принципу, родственному тому, что проявляется в хоровом пении. И здесь могут открыться пути, которые позволят музыке перерасти классические традиции, не вырождаясь при этом в разновидности абстрактные или сумасшедшие.»

И, наконец, о танце:

«Возможность развития, может быть, еще более масштабного чувствуется и в русском танце. Конечно, в Европе *не один* только народ имеет выдающиеся способности к танцу. Следует, между прочим, вспомнить о Польше, Венгрии, Испании. Но в русском танце живет особый элемент, который трудно описать именно потому, что он в зародышевом состоянии. Кажется, что здесь в огонь темпераментного действия добавляется элемент духовно-уравновешивающий, как будто что-то от ранней греческой пластики вливается в тела, все еще столь восприимчивые ко всему пластичному.

Мы подразумеваем тончайшие мотивы, которые намечены в народном танце, более явно видны в балете, но на самом-то деле позволяют почувствовать некую будущую третью форму, которая может еще появиться между ними. Ведь народный танец, каким бы мощным он ни казался, питается из резервуара юных сил, который в перспективе не пополняется; а балет, как это ни печально,

вынужден тайком подкрашивать отдельные седые локоны, дабы казаться все еще юным.

Но уже сегодня в русском балете можно встретить много такого, что уникально. Среди прочего это та сфера, в которой как женское, так и мужское начала перерастают самих себя, не утрачивая при этом своеобразия каждого из начал. По этой причине там никогда не выступают те феминизированные мужчины, чей вид трудно перенести в другой обстановке. И не то чтобы танцор, как в прекрасных испанских танцах, пробивался к победе. Здесь не выделяют себя и не утверждают себя, а остаются открытыми в совместном действии. Внутри искусства движений, происходящих во времени, начинает формироваться совершенно новое духовное пространство. И временами складывается впечатление, будто в таком пространстве и посреди всех танцоров весело подпрыгивает невидимое дитя.»

Вот что видит в нас Европа. Вот чего она ждет от нас. Вот чего она явно недополучает от нас в последнее время и потому мстит нам низкими баллами на кинофестивалях и других подобных форумах. Ведь от нас по-прежнему ждут чего-то особенного, а получают субъективно-конъюнктурные поделки в стиле того же Запада. Из сказанного Гербертом Хааном ясно одно: мы в состоянии благотворно встряхнуть и приятно удивить старушку Европу, если не побоимся уподобиться тому театру и станем играть на иностранной сцене *на своем языке!* И тогда и только тогда нас поймут и оценят.

[Глава 10. Между драконом и архангелом.](#)

Мы перечислили далеко не все «географические» факторы, подмеченные Гербертом Хааном.

Мы только слегка коснулись отдельных моментов из его ярких и многоплановых описаний факторов «лингвистических», то есть касающихся русского языка.

Используя фактические материалы из произведения Герберта Хаана, мы поставили тему о факторах экономического бытия и их воздействий на психический склад разных народов.

Ясно, что на основании выборочного цитирования всего лишь отдельных мест и только отдельных тем нельзя говорить о том, что мы готовы к подведению итогов. Один итог, впрочем, явно напрашивается: русскому читателю срочно нужна сама книга Герберта Хаана. И здесь дело за издателями.

Что же касается самого по себе «русского духа», то вместо выводов мы просто познакомим читателя только с одним, совсем даже не заключительным, рассуждением Герберта Хаана:

«О русском народном пении мы уже говорили несколько раз. В нем, а также и в пении церковном, можно услышать, как самые глубокие, почти сказочные для других стран басы обрамляются сопрано, которое пропадает в разреженной, едва ли не совсем уж безвоздушной высоте. Потом объективно заложенные в голосах погружения и взлеты даже происходят одновременно.

Обычно же они следуют друг за другом, причем тесно прижимаясь друг к другу, почти без перехода. Они могут сменять друг друга в одной и той же песне, так же, как минор и мажор. Для такой внезапной смены темпа и настроения характерна

народная песня волжских бурлаков «Эй, ухнем!», к сожалению, несколько подзабытая сегодня на Западе. Начинаясь издали, звуки песни дают возможность почувствовать, как эти изнуренные люди, большей частью в оборванной одежде, тянут за трос тяжелое грузовое судно. Веревка натирает израненные плечи и спины, но шаг за шагом судно толкается вперед; слышится глубокое дыхание, как бы черпающее силы со дна колодца, и как бы видишь напряженную поступь. Чем ближе становится пение, тем более оно угнетающее. В нем что-то от бесконечного терпения, даже от боли, переносимой с тупой покорностью. Но на несколько мгновений настроение совершенно переменяется. Из чудодейственным образом освободившихся, чудесным образом освежившихся глоток изливается мощное мужское пение:

Lasst uns die Birke aufmachen,
Lasst uns die schongelockte entfallen

Разовьем мы березку,
Разовьем мы кудряву!

Какую березу? Веревка, которую тянули бурлаки, задела за березовый шпенек на судне. И пока люди своим тяжким трудом натирали себе плечи до крови, кому-то и как-то пришло в голову, что и этот березовый шпенек загнан в угол, как бедный странник: выпиленный из такой прекрасной березы, шелестевшей в свое время своими кучерявыми ветвями на весеннем ветерке. И песня вдруг на мгновение переносит шпенек назад, к ее юной матери, кудрявой березе. Бурлаки вдыхают запах свежей листвы. Но куда развиваться им самим, где та большая мать, которая примет их всех? День вчерашний и день завтрашний одинаково серы. И после краткого березового сна они вновь тонут в прежней нищете. Что остается, кроме «эй, ухнем!», продолжающегося днями, годами и всю жизнь?

Противоречия и противоречия, непрестанно повторяющаяся смена темпа и акцентов пронизывают всю русскую жизнь. Да, можно подумать, что русская душа лишь тогда способна играть на всех струнах, если у нее есть возможность переходить от одной крайней точки к другой. Сегодня, в минуту, показавшейся кому-то стоящей, готовы безмерно проматывать, а на завтра затягивают пояс, и начинаются недели экономии и поста. Но эти недели не переносятся с кислым видом, а проживаются с бодрым спокойствием. Тут надолго предаются, если позволяет жизнь, состоянию полусонному и полуобморочному, в котором видимость деятельности обнаруживается, пожалуй, лишь в курении. А там принимаются за работу с лихорадочным усердием, которое переходит все обычные границы дня и ночи и принимает характер подвига Геракла. Душа, пока ее все еще несут в основном чувства, может быть мягкой, все понимающей и все прощающей – чтобы тут же сразу, совсем неожиданно, оказаться колючей и замкнутой. Иногда она может даже доходить до некоторой жестокости.

В самом общем виде можно сказать, что здесь готовы с житейско-философским равнодушием, даже с легким, необязывающим восхищением воспринять какое-либо преимущество, какую-либо ценность, которой нет у самих. Одна из лучших черт русского характера в том, что зависть ему чужда в принципе. В глубине души он чувствует себя предрасположенным к любым богатствам, так что недостаток их

в чем-то отдельном он переносит безболезненно. Про себя он чувствует: я тоже смог бы, если бы захотел. И если он однажды действительно захочет, то этот порыв не ограничится умеренными рамками. От необладания каким-либо свойством, из состояния «ноль» он бросается в состояние «гипер», к излишеству. В этой стране даже самые простые души наделены от природы житейской мудростью, но от природы же они не склонны к интеллектуальному, к абстрактному. Однако если кто-то однажды встанет на путь интеллекта, то будь здоров! Он сразу же станет слишком интеллектуалом, чтобы быть прилежным в мыслях.

В невероятно огромной стране с ее бесчисленными возможностями должны решаться задачи такого размаха и столь разносторонние, что с ними в мире сравнится лишь немного. После исторически обусловленного зимнего сна они вставали все сразу или же по крайней мере вырастали, как кусты. Однако на первых порах большие усилия оказываются сизифовым трудом; поднятый камень вновь скатывается вниз. И вот в самых различных областях жизни появляется своеобразный феномен наивысших достижений. Где-то что-то достигается и представляется так, что затеняет собой все до тех пор известное и становится образцом. Но выясняется, что весьма трудно подтянуть к этой вершине всю жизнь с ее хлопотами, весь труд и созидание во всей их широте. В тысячах мест зияют еще не заткнутые дыры.

Если в самом общем виде рассматривать русскую историю, то обнаружится, что в соответствии с этими эскизными набросками у нее в высшей степени своеобразный ритм, мы бы даже сказали пульс. В течение долгого, долгого времени этот пульс медленный, даже инертный, но и при частоте в 50, а то и в 45 все-таки здоровый. Потом он внезапно подскакивает до 100, 110, 120. И его также переносят с поразительно хорошим самочувствием, проносясь по истории в семимильных сапогах. Тут «развивают березу, кудрявую». Однако тяжелая и грузная поступь «эй, ухнем!» может возвратиться. Угрожающе замедляется пульс снова.

Но и это преходяще, потому что все в брожении, в появлении, в становлении. Мера между ничем и избытком отыскивается мучительно трудно. Однако качание маятника между этими экстремальными значениями живое, а найденная мера никогда не будет иметь ничего общего с умеренностью.

Размышляя об этих вещах, вспоминаешь высказывание юного Шиллера, который назвал человека несчастной промежуточной тварью «между скотиной и ангелом». Услышав такое, хочется сказать: «между скотиной и ангелом» – это, может быть, для средней Европы и для среднего европейца. Для русского человека придется брать глубже и выше. Он витает не между скотиной и ангелом, а между архангелом и драконом. От этого у него большие проблемы, но и большие возможности.»